

АЛЕКСАНДР
ВОЛОДИН

Стихотворения

Александр Володин

**Простите, простите,
простите меня...**

«ИП Князев»

2019

УДК 821.163
ББК 84 (2=411.2) 6

Володин А. М.

Простите, простите, простите меня... / А. М. Володин — «ИП
Князев», 2019

ISBN 978-5-89091-532-0

Сборник «Простите, простите, простите меня...» – самое полное на сегодняшний день издание стихотворений драматурга Александра Володина (1919–2001). Он включает в себя поэтическую книгу «Неуравновешенный век» (1999), подготовленную самим автором; стихотворения из сборников «Так беспокойно на душе» (1993), «Монологи» (1995) и «Попытка покаяния» (1999), а также стихи, публикуемые впервые.

УДК 821.163
ББК 84 (2=411.2) 6

ISBN 978-5-89091-532-0

© Володин А. М., 2019
© ИП Князев, 2019

Содержание

Игорь Кузьмичев	9
Книга стихов	16
Сны	16
«Неверие с надеждой так едины...»	16
«Отпустите меня, отпустите...»	16
«Необозримый залив полыхает снегами...»	16
«Сначала трясса на подножке...»	17
«А что природа делает без нас?...»	17
Плес	18
«Сначала были встречи...»	19
«...Как бел был снег, как реки чисты...»	19
«Стеснительные ночлеги...»	20
«...Утром, ранним солнечным утром...»	20
Звёзды тех, еще тридцатых лет	21
«Сухие заборы мои...»	21
«Таинственную, как ее узнать?...»	21
«У Сухаревой башни...»	22
«Я – в Москве. Угнетен и рассеян...»	22
«Звезды тех, еще тридцатых лет...»	23
А капли сверк, сверк...	24
«Ты, музыка, так беспредметна...»	24
«Тихо в доме, ах как тихо в доме...»	24
«А капли сверк, сверк...»	24
«Музыка – беседа с Богом...»	25
Соната	25
«Творчество человеческое – это вызов...»	26
Он сжёг себя на площади центральной	27
Воспоминание о сороковом годе	27
В Таллине	27
В Вильнюсе	28
Еще о Вильнюсе	28
«Слегка воздевши пальцы пушек...»	29
«Четырнадцать рабочих расстреляли...»	29
Из Дневника	30
И кажется, быть пусту миру	31
1939-й, 40-й, 41-й...	31
«Я с музыкою жил тогда...»	31
«Нас матери на руки сдали...»	31
«Все еще, хотя и реже...»	31
«Аккуратно, перед наступленьем...»	32
«Снега незрячие. Слепые...»	32
«В траншейных профилях земли...»	33
«На фронте была далеко идущая мечта...»	33
Откуда снова этот свет	35
«А женщины...»	35
«Девушки высокими ногами...»	35

«Ты осветила все, что было прежде...»	35
«Женщины, нас под руку берущие...»	36
«А некогда – одна из вас...»	36
«– Вы не скажете, как пройти...»	36
«„Девушка, не бросайте, пожалуйста“...»	37
Массовка в кино	38
«Откуда снова этот свет...»	38
«Я хочу работать!..»	39
«Недвижно пылают закаты...»	39
«Она была давно замужняя...»	40
«По статистике, многие женщины...»	40
«А девушки меж тем бегут...»	41
«В моей комнате людно...»...	41
«Солдатской переписки строки...»...	41
«День мокроватый, тихий, зимний...»	42
«Не забыть этот сон...»	43
«Нас только двое, только двое...»	44
«Очевидно, чувство любви, которое...»	44
На шаре тесненьком	45
«Во Франции неважные дела...»	45
«Над грустной землёю Грузии...»	45
«Армения, страна-печаль...»	46
«А когда уезжать собрались...»	47
«Меня ошибочно любили...»	47
«А легко ль переносить...»	48
«Недобросовестность, ты выживешь...»	48
Глаза провинциала	49
«Время, ты незапятнано...»	49
«Солнечным сиянием пронизан...»	50
«Медленные приближались даты...»	50
«Ушел кровавый день вчерашний...»	50
«Мы самоеды...»	50
«Первый раз в жизни...»	51
Независимость	51
«Все беды встали на порог...»	52
«Ушла поэзия. Укрылась...»	52
«Нашел никем не занятое место...»	52
«Виновных я клеймил, ликуя...»	53
«Открыться жизни! Распахнуть наружу...»	53
И чёрные мысли к рассвету	54
«Проступок, промашка. Оплошность...»	54
«Одних обидел – знаю, виноват...»	54
Рассвет	54
«Я судьей себе стал, палачом...»	55
«Казалось, жалкой жизни не стерпеть...»	55
«Друзей моей юности нет...»	55
Никогда не пейте с неприятными людьми	56
«Не верить в будущий прогресс...»	56
«Полоса неудач...»	56

«Он был веселый человек...»	57
«Беззвучно пролетают мимо...»	57
Пивной бар «Мальборо»	58
«Надо следить за своим лицом...»	58
«Живем, мужаем...»	59
«Городской я. Московский и псковский...»	59
«Как безупречна гибель в блеске сцены!...»	60
«Отныне ставлю вас в известность...»...	60
«Не могу напиться с неприятными людьми...»	61
«Это, что ли, жизнь кончается?...»	61
«А есть собаки...»	61
«Маленькие мысли...»	62
Старые фотографии	63
В Сан-Хосе	63
«Рассказ о том...»	63
Случай	64
«Я равнодушию учусь...»	64
«Погода, плохая погода...»	65
«После бума, и грома...»	65
«Я побежден самим собой...»	66
«Никогда не толпился в толпе...»	66
«Эта элита...»	66
«Укорочен лозунг французской революции...»	67
«Душа моя, ты все еще...»	67
«Добился я того, что не звонят...»	68
«К черту подробности жизни! Детали!...»	68
«Вдруг разом...»	69
Хобби	69
И хор слегка похож на стон	71
«Букварь забыт...»	71
«Свобода...»	71
«Мы волочили семь десятков...»	72
«Здесь перестроек механизмы...»	72
«А вам еще не вышли сроки?...»	73
«А новое так отрицает старое!...»	73
Ветры времени нервно дуют	74
«Повторения, повторения...»	74
«Правда почему-то потом торжествует...»	74
Случайный гость	74
«А что с той девушкой, которая...»	75
«Она все время искала...»	75
«Когда они расставались...»	75
«Девушка не спит, не спит, не спит...»	76
«Жалко телефон...»	76
«Привычка-жалость, пожалел...»	77
«Все отправились в гости...»	77
Судьба	78
«Я бегал по двум лестницам...»	78
«Большевистские кожанки...»	78

Две стрелы	80
Заклинание	80
Монолог Длинного	80
Монолог Долгоносика	81
Ушастый и черепашка	81
Финал	83
Соловьи онемели	86
«Уезжаю. Куда? Неизвестно...»	86
«Незрелой юности мучения...»	86
«Простите, простите, простите меня!..»	86
Конец ознакомительного фрагмента.	88

Александр Володин
Простите, простите, простите меня...
Стихотворения

*Составители приносят сердечную благодарность Татьяне
Валентиновне Ланиной за содействие в издании этой книги*

*Издательство выражает самую сердечную признательность
за помощь в осуществлении настоящего издания Леониду Ильичу
Зильбербургу*

Игорь Кузьмичев «Судьба обретает рисунок...»

Отношение Александра Моисеевича Володина (1919–2001) к собственным стихам выглядело несколько странно: он называл их «полустихами», не заботился об их публикации и, как правило, не ставил под стихотворениями даты. Можно лишь предполагать, как рано он начал писать стихи. По его словам, поэзией он «заболел» еще школьником, в пятом классе. По совету двоюродного брата заинтересовался Пастернаком: «Почитал, не понял. Долго читал, ничего не понимая». Все слова в отдельности были знакомы и никак было не сообразить, «что они значат составленные вместе». Потом почувствовал музыку пастернаковских строк – о дожде («так носят капли вести о езде, и всю-то ночь то цокают, то едут...»), стихов про снег («Только белых мокрых комьев быстрый промельк маховой...»), позже – стихов про женщин («Ты появишься у двери в чем-то белом без причуд, в чем-то впрямь из тех материй, из которых хлопья шьют...»). Полуосознанное тяготение к поэзии у Володина было неодолимым. В «Оптимистических записках» он вспоминал: «... стихи, которые я любил в старших классах школы, казались мне настолько выше всего, что эту их особенность и необычайность я начал чувствовать своей собственной особенностью и необычайностью...» Воспринимая классическую лирику как «стихи про себя», легко было, пусть в мечтах, приближаться к столь манящему поэтическому миру.

Писать стихи Володин начал еще в 1930-х годах. Одно из датированных стихотворений, «О солдатской бане», помечено 1939 годом – ему было уже двадцать лет и он уже служил в армии. Стихотворение «Начало» помечено 1941 годом. Стихотворение «Нас в теплушки-вагоны...» – 1943-м. Встречаются стихи 1946 года, стихи с пометкой «50-е гг.». Судя по всему, значительная часть довоенных, военных и послевоенных стихов не сохранилась по причине весьма строгой авторской самооценки, а что-то было потеряно или забыто. Все эти годы Володин писать стихи не прекращал. Вопреки распространенному мнению, что сочинять стихи он принялся, уже зарекомендовав себя признанным драматургом. Володин избегал публично именовать себя поэтом, на читательское внимание не претендовал, но *поэтом* он был – поэтом по натуре, от рождения.

Володин называл свое писание стихов «нерработой» («работа была в театре, в кино»), посвящал и дарил стихи друзьям, круг которых был велик и разнообразен. Кто-то, к примеру Сергей Юрский, читал володинские стихи с эстрады, кто-то, как Александр Хочинский, писал на его слова песенки. Стихи Володина без его ведома завоевывали свою неравнодушную аудиторию, и в результате где-то в 1970-х годах попечением неизвестных почитателей получили хождение самодельные сборники.

Елена Львовская вспоминала, как однажды Володин привез книжку в ледериновом переплете с золотым тиснением на обложке «А. Володин» – сто машинописных страничек. «На титуле, – рассказывала Елена Львовская, – было написано Сашиной рукой фломастером: „Стихи для Миши [Львовского. – И. К.]. 1979. 22 июля. Тираж 1 экз.“. Такой вот самиздатовский экземпляр. В то время о печатном издании не могло быть и речи. И потом много лет подряд он привозил все новые разрозненные листочки со стихами, напечатанными на машинке».

Такое положение вещей Володин принимал спокойно: не печатают, ну и ничего страшного. Стихов у него накапливалось все больше и больше. В одном из машинописных сборников (без титульного листа, с пропуском страниц), который сохранился в архиве «Петербургского театрального журнала», уже насчитывалось 193 стихотворения.

Публиковаться володинские стихи от случая к случаю стали со второй половины 1960-х. В 1967 году журнал «Театр» (№ 12) поместил на своих страницах три стихотворения:

«На фронте была далеко идущая мечта...», «Равнодушию учусь...», «Вы не скажете, как пройти...». В 1968 году в альманахе «День поэзии» (Ленинград) дали два стихотворения: «Добился я того, что не звонят...» и «А девушки меж тем бегут...». В 1969-м в том же альманахе – «Солдатской переписки тайна...».

Стихи не вдруг, но, так сказать, по-хозяйски обосновались в володинских киносценариях («Звонят, откройте дверь!», 1964) и пьесах («Дневники королевы Оливии», 1966; «Две стрелы», 1967), став органичным элементом текста. Сюжет рассказа «Стыдно быть несчастливым» (другое название – «Графоман», 1971) держится на обильном цитировании стихотворений главного героя, вовсе не идентичного с автором. А «Записки нетрезвого человека» и более того – оригинальный сплав лирических стихов и исповедальной прозы, где стихи не только выполняют функцию смыслового и эмоционального курсива, не только регулируют переливы неповторимой проникновенной интонации – они таят в себе всю глубину невысказанной душевной драмы.

Упомянутый машинописный сборник (без названия) можно считать предшественником так и не увидевшей света книги «Полустихи», которая готовилась – в издательстве «Библиополис» – сперва в 1986-м, потом в 1991 году и в окончательном варианте появилась в 1995-м под названием «Монологи».

«Полустихам» было предпослано краткое предуведомление «От автора», где Володин объяснял: «Это я называю полустихами, они – без метафор, внезапных образов. Зачем тогда? У меня было тяжкое состояние, и я стал писать заклинания самому себе. Первое заклинание было про то, что стыдно быть несчастливым...»

Заклинания адресовались самому себе – но не публике. Однако четкий и настойчивый нравственный посыл раздвигал границы личных переживаний. Володин словно стыдился своей откровенности, извинялся перед читателем и тем не менее ощущал фатальную потребность в своих печально-назидательных заклинаниях, оказавшихся, пожалуй, самой подходящей для него формой самовыражения.

До того как появились «Монологи», Володин в 1993 году выпустил в Петербурге сборник «Так беспокойно на душе. Записки с отступлениями», где наряду с одним из вариантов «Записок нетрезвого человека» присутствовал и стихотворный раздел «А капли сверк, сверк...». Если сюда прибавить стихи, вживленные в текст «Записок нетрезвого человека» (в том числе изложенные в строку, прозой) и те, что приводятся в рассказе «Графоман» (в том же сборнике), то всего наберется около семи десятков стихотворений. Сборник «Монологи», с посвящением «Моей жене», произволен по составу, композиционно хаотичен, не имеет предисловия. Следил ли автор за его подготовкой или же полагался на вкус и волю редактора не стоит гадать. При очевидных недочетах «Монологи» – это первая книга Володина-поэта, и сам факт ее публикации в 1995 году (тиражом 3000 экземпляров) трудно переоценить.

Наиболее полное издание володинских стихов «Неуравновешенный век» (СПб., 1999) – книга, составленная и отредактированная самим автором. Володин выстраивал «Неуравновешенный век» именно как цельную книгу из четырнадцати циклов. Последовательность лирического повествования обусловлена тут сменой душевных состояний, замысловатым движением от цикла к циклу и от стихотворения к стихотворению внутри циклов. Порывистое это движение резонирует с трагическим бегом времени на том историческом этапе, в границах которого поместилась биография автора, – а это весь советский и постсоветский XX век.

Володина смолоду волновала интрига собственной судьбы. В стихах-заклинаниях это особенно ощутимо. Он и в «Неуравновешенном веке» предпринял попытку разглядеть, как его личная судьба «обретала рисунок» под влиянием и внешних, и сугубо личных обстоятельств. Однако при всей чистосердечности признаний, при безусловной достоверности биографических и прочих подробностей, сюжет этой исповедальной книги фиксирует лишь субъективную версию володинской судьбы, оставаясь *нарисованным*. Ситуация складывалась двойственная:

реальная судьба здесь заведомо предстает с поправками на то, какой ее сконструировал на страницах книги автор, какой он увидел ее, прячась временами за неким образом-маской.

В веренице из четырнадцати циклов Володин приглашает читателя – который ему уже небезразличен – пройти вместе с ним по прихотливому лабиринту лирического повествования, где встречаются и ясные сквозные участки пути, и затайливые повороты, и неожиданные тупики, и перепады эмоциональных высот. Автор порой как бы теряет намеченную путеводную нить, меняет шаг, и читателю остается двигаться дальше на свой страх и риск, на ощупь, по разбросанным на пути то тут, то там ориентирам – заглавиям циклов.

Переплетение тематических мотивов в протяженном, прерывистом авторском монологе имеет свои устойчивые векторы.

В открывающем книгу цикле «Сны» уже в первом стихотворении «Неверие с надеждой так едины...» заявлен принципиальный для Володина мотив надежды («свет надежды все слабее светит»), подхватываемый мотивом ускользающего *счастья*. Ощущение счастья, и ускользнувшего, и вовсе недостижимого, или вдруг возвратившегося, – каким бы оно ни выглядело, – было Володину дороже всего.

Вплоть до счастливого чувства своей одинаковости с «этим дождем, и деревьями, и переулками, и освещенными окнами домов», – до всепоглощающего чувства жизни в заключительном стихотворении (в прозе) цикла «Сны».

Надежда на счастье неразрывно связана с образом женщины, и неспроста уже во втором цикле «Звезды тех, еще тридцатых лет» мелькают воспоминания о московских школьницах («там жили богини мои, уроки учили») и звучит вопрос: «Таинственную, как ее узнать?...» Ответам на этот далеко не риторический вопрос подчинены так или иначе все последующие циклы. Образ женщины, во множестве вариаций и оттенков, – нерв авторской исповеди. А с трудом, но все-таки просматриваемая хронологическая канва (даты под стихотворениями поставлены лишь изредка) отражает процесс духовной эволюции володинского *внутреннего человека*.

Третий цикл «А капли сверк, сверк...» – задумчивая пауза, когда музыка «разговаривает с Богом, слушающим изумленно». Этот цикл – смена темпа перед четвертым циклом, где в «Воспоминании о сороковом годе» уже ощущается тяжкая поступь приближающейся большой войны. И здесь же в стихотворении

«Из дневника» брошен ретроспективный взгляд в тогда неведомое (но потом прожитое автором) будущее: «Тридцатые. Парадный срам. <...> Потом война. Сороковые. <...> Потом надежд наивных вера, шестидесятые года». Очередность циклов в лирическом повествовании не исключает подобных эмоциональных всплесков, что называется, постфактум.

В пятом цикле «И кажется, быть пугу миру» война очерчена скупыми, жесткими штрихами. Война пришла – «и музыка была убита». В стихотворении 1942 года «Аккуратно, перед наступлением...» смерть настигла друга, с которым они только что перед боем пили законные сто грамм, «хлеб дожевывая на ходу». Смерть вслепую выбрала друга, дав шанс тому, «кто уцелеет», прожить «две хороших жизни». Скорбное чувство потери стократно возрастает от «виноватости без вины» и долга перед погибшим, на месте которого по милости судьбы не оказался сам. В стихотворении 1946 года «На фронте была далеко идущая мечта...» Володин и провозглашает главное свое заклинание: «Стыдно быть несчастливым».

«Можно ли благодарить, что жив? Можно ли стыдиться, что жив? Стыд и благодарность сливались в чувстве жизни: не жизни в себе, а жизни, которую подарено видеть, трогать, понимать, жалеть в ее слабости и нежной смертности», – так трактовала этот володинский лозунг в своих воспоминаниях Инна Соловьева.

А еще в пятом цикле мелькнула строчка «Нам век не хватать будет женщин», перекидывая мостик к шестому циклу «Откуда снова этот свет», где все двадцать стихотворений посвящены «женщине, и тайне с ней». Женщина предстает здесь и воплощением той фронто-

вой, далеко идущей мечты, и надежды на счастье, которого достоин каждый из оставшихся в живых, – и сверх того, женщина, по догадке Володина, знает и скрывает в себе лишь ей доступное ощущение и понимание извечных жизненных смыслов.

В седьмом цикле «На шаре тесненьком» сюжетный лабиринт «Неуравновешенного века» делает внезапный поворот, возвращаясь вновь к демонстративно гражданственному четвертому циклу «Он сжег себя на площади центральной», пронизанному сознанием вины «за грехи империи моей» перед «малыми странами», перед послушной Чехословакией и непокорным Афганистаном. В седьмом цикле набирает силу мотив непримиримого несогласия с государством: из-за развеянных довоенных иллюзий и надежд на честную жизнь; из-за банкротства «социализма с получеловеческим лицом»; из-за гнетущего унижения человеческой личности.

«Когда начались сомнения? – спрашивал себя Володин в „Записках нетрезвого человека“. – Когда началась отдельная от государства жизнь? Точнее сказать, не мы от него отделились, а оно от нас отделилось, дало понять, что не нуждается в наших мнениях. А нам – то и дело стыдно за него. За другие государства не стыдно, они не наши, а за это стыдно, потому что оно наше и все, что оно делает, – это как бы мы делаем». То же самое душевное состояние зафиксировано в седьмом цикле в стихах, помеченных 1973 годом («А легко ль переносить, / сдерживать себя, крепиться, / постепенно научиться / в непроглядном рабстве жить?»), и в стихах 1976 года («Друзей безмолвно провожаю / и осуждать их не берусь. / Страна моя, изба чужая, / а я с тобою остаюсь. / Твоих успехов череда – / не для меня, не для меня. / А для меня твоя война, / а для меня твоя беда»). В стихотворении «Четырнадцать рабочих расстреляли...» несогласие с государством достигло точки невозврата.

В сюжетном лабиринте «Неуравновешенного века» наметился тупик. И даже когда времена в одночасье переменялись, когда «оживали распятые, исчезали великие», Володин в стихах признавался: «Первый раз в жизни / я перестал понимать: / как жить? Что делать? Ради чего?»

На грани исторического перелома, настигшего страну, в пылу демократического взрыва душевный кризис был налицо. Сводить счеты с рухнувшим государством «надобность срочно отпала». А чувство «виноватости без вины» вовсе не смолкло («Виновных я клеймил, ликуя. / Теперь иная полоса... / Себя виню, себя кляню я...»). В восьмом цикле «И черные мысли к рассвету» чувство личной вины за все казавшиеся раньше пустяковыми «проступки» и «промашки», за все «кляксы на жизни» стало губительно назойливым («Я судьей себе стал, палачом. / Что ни день, то казню себя заново...»). «Копившееся где-то» возмездие пугало своей неотвратимостью.

В девятом цикле «Никогда не пейте с неприятными людьми» была четко декларирована бескомпромиссная позиция:

Отныне ставлю вас в известность,
что без отсрочки, проволоочки
я выбыл из игры нечестной.
На этом я поставил точку.

Это тяжкая участь – внутренне наглухо замкнувшись – сохранять себя, свою независимость в обстановке тебе и ненавистной, и уже непонятной. Говорить себе: «Я равнодушию учусь» или «Я от этого в стороне». И автор-персонаж лирического повествования в очередной раз скрывается за образом-маской:

Казалось, жалкой жизни не стерпеть:
тогда уж лучше кувырнуться с кручи.
Казалось, если несвобода – лучше

совсем не жить. Тогда уж лучше смерть.

Но – самого себя смешной осколок —
живу, бреду, скудея по пути...

Страдания володинского внутреннего человека в пути по запутанному лабиринту «Неуравновешенного века» приобретают типологически значимую окраску. Человек, «без вины виноватый и, так сказать, по законам природы», которому знакомо «наслаждение отчаянием» (по выражению любимого Володиным Достоевского), ищет объяснения своим страданиям в глубинах собственного характера, такого вроде бы родного и на поверку такого непостижимого. Он озабочен «препираательствами между сущностью жизни и суетностью ее», отмеченными еще в рассказе «Стыдно быть несчастливым».

Циклы десятый «И хор слегка похож на стон» и одиннадцатый «Ветры времени нервно дуют» итожат ранее пережитое, возвращаясь как бы по спирали к кодексу прежде затверженных заклинаний. На отдельной строчке неизменно остается свобода: «от мстительных злоевших» и от «любящих, которые проникают в душу, где неладно», от «энергетических вампиров», «левых» и «правых», от общества, в котором «нельзя жить и быть свободным от него»... Свобода – превыше всего, но как ее сохранить, будучи «несвободным от самого себя, глядящего себе в душу».

Книга стихов «Неуравновешенный век» постоянно перекликается с «Записками нетрезвого человека». И тут и там имеет место исповедь этого самого человека, для которого нетрезвость стала привычным состоянием, и губительным, и желанным, стала болезнью, по слову Гоголя, «деспотически обратившейся в натуру». Володин это сознает, не ищет себе оправданий, но спрашивает гипотетического собеседника: «Когда выпивали, вы не взлетали?» Не оказывались за гранью быта, где «нет уже больше рангов и кланов», где «в размытом виде светится главное, а второстепенное меркнет»?

Нетрезвость, как известно, дает краткое, но явственное ощущение бесшабашной вольности: «Треплюсь! / Что попало несусь, / что стбит, и то, что не стоит. / Я клоун! / Политик! / Философ! / Я эпикуреец и стоик!» За этой разноликой маской, за жесткой самоиронией, если не юродством, настоящего лица не разглядеть.

В двенадцатом цикле, стоящем в «Неуравновешенном веке» особняком, помещены стихи из одноименной пьесы «Две стрелы», действие которой разворачивается в доисторические времена: род Зубров и род Скорпионов враждуют между собой. Часть этих стихов, вложенных в уста героев («Заклинание», «Монолог Длинного», «Монолог Долгоносика»), развивают мотивы прежних циклов и вполне самостоятельны. Другие зависимы от сюжета, и завершают и эту пьесу-притчу, и этот короткий цикл.

Оголенный нерв тринадцатого цикла «Словы онемели» и последнего четырнадцатого «Но – дети!» – прощание и прощение:

Приближаются дни печальные.
Вот еще один день иссяк.
Слово бедственное «прощание».
О прощении просят так...

В «Записках нетрезвого человека» добавлено: «Еще одно слово понял – „искупление“.
Все время пытаюсь что-то искупить».

Тон володинских признаний, не теряющих былой категоричности, как бы смягчается:

Музыка жизни смолкающая.

Трубы и флейты тихи.
Я существую пока еще
и сочиняю стихи.

...

Автор пьес разговорных
Слова позабыл давно.
Немой сижу в зале черном,
Немое смотрю кино.

Грустное ощущение жизненного итога, земного предела, все явственнее проступает в двух последних циклах «Неуравновешенного века» и ближе к финалу «Записок нетрезвого человека».

Душевное состояние, отразившееся в «Записках», не оставляет лазеек для малейших утешений: «Слабый холмик Матвеевского сада на Петроградской стороне. Если сесть на скамейку в этом садике, а еще не весна и снег сер и небо серо, возникает мысль: „жизнь проиграна“».

Но и при таком душевном мраке в лабиринте «Неуравновешенного века» не все так монотонно и безнадежно. В поэтическом мире Володина все гораздо сложнее, в этом мире всегда подспудно ощущаются две противостоящие сферы: одна сфера – властного быта, «маленьких мыслей», пошлая и невыносимая, другая – романтически чистая и возвышенная, дарующая человеку не только свободу, но и мудрое понимание того, что и сама свобода – лишь условие духовного взлета.

Мотив прощания и прощения звучит и в программном стихотворении «Простите, простите, простите меня!» в цикле «Соловьи онемели».

У кого поэт просит прощения? У тех, кого когда-то обидел своим невниманием, у друзей и преданных ему женщин, у собственных детей и всех, кто ему дорог, близок, кого он когда-то приручил. Не держит он зла и на тех, кого просит о нем забыть. Отгораживаясь и от обывательских «толп», и от просвещенных «элит», увязших во лжи, Володин защищает свою личную независимость, своё выношенное одиночество:

На вашей планете я не проживаю.
Я вас уважаю, я вас уважаю,
но я на другой проживаю. Привет!

Бодрый возглас: «Привет!» – будто снимает тяжесть с души. Расставание с «вашей планетой», принесшей столько разочарования и горя, совершается легко, само собой. На свою планету Володин готов забрать только своих детей. В «Неуравновешенном веке» встреча с ними на выходе из темного лабиринта – дарованный праздник («...ради чуда такого / меня, грешного, полуживого, / все кривые дороги вели»).

Проблеск счастья напоследок был ярким и коротким. Долгий жизненный лабиринт исчерпал себя. Лирическая исповедь завершилась тихим обращением к Тому, к кому обращаются как к последней надежде:

Вот и прожил я, знаешь Ты как трудно.
Мне перед концом ты велел побывать в доме
белом. Перед ним с пяточек – садик.
Люди в том доме – знаешь ты их, Боже.
Видно, мне и прожить было так трудно,
Чтобы привел Ты меня в этот дом белый,
к людям, которые, знаешь Ты, мне – дети.

В них лишь одно, пожалуй, мое оправдание.

Вне «Неуравновешенного века» осталось довольно много стихотворений, и напечатанных в других книгах («Монологи», «Так беспокойно на душе», «Попытка покаяния»), и неопубликованных. Эти стихотворения не встраивались в и без того перенасыщенный и перекрученный сюжет «Неуравновешенного века». Развивая те же лирические мотивы, они усиливают общее впечатление, внося в поэтическую атмосферу дополнительные краски и лишний раз подтверждая ранее сказанное.

В параллель «Неуравновешенному веку», в не вошедших туда стихах Володину опять «сняты сны, где минный скрежет»: «Это – было, я там был»; и «глухие стены, где допросы»: «Я там не был! Но – другие...» Он вновь и вновь задается вопросом: «Как объяснить самоочевидную истину, если она никому не нужна?» Вновь и вновь обращается к друзьям: «Друзья мои, остались только вы...» И жалуется: «Я с этой жизнью не справляюсь, / то так, то сяк. / Грешу и каюсь... / Устал, иссяк». Снова вспоминает он и встречу с детьми в Америке: «Как мне веселы их молодые заботы. / Если б мог я так жить в Ленинграде моем...»

Володин всегда остается верен себе, предан своим заклинаниям, всегда тревожен и жадно эмоционален. Александр Кушнер говорил о володинских стихах, что в них «смысл наступает на слово, чувство из них чуть-чуть торчит, выпирает», что и в своей драматургии, и в своей прозе Володин «воистину поэтичен». Это, действительно, так.

Отношения со словом меж тем были у Володина весьма непростыми. В какой-то момент он признался: «Разлюбил слова. Ничего не хочу называть словами. Деревья сами по себе – а слова, которыми их можно было бы назвать, сами по себе. Где-то. И мне нет дела до того, где они. Птицы, оркестранты, женщины, самолеты, рабочий класс и колхозное крестьянство сами по себе, а слова, предназначенные для них, – где-то. Не знаю где и не хочу знать. Я не писатель. Я никогда и не любил это занятие – сидеть за столом. Театр – да, когда-то я любил, игру любил, представление на сцене. Раньше. А слова – никогда не любил. Я сам по себе, а они – сами по себе, неизвестно где».

Мастер с абсолютным слухом на разговорную речь, слова Володин, оказывается, не любил, бывал с ними небрежен, но в горькую минуту как раз в слове увидел единственного спасителя. «Слово, теперь нужда в тебе, – каялся автор „Записок нетрезвого человека“ (в другом варианте только что приведенного высказывания). – Защити меня от моей собственной глупости, от неопикуемых ошибок моих, от больной, каждое утро просыпающейся совести, от вин моих – настоящих, а не воображаемых, – чтобы слово к слову, чтобы одно слово осеняло другое, стоящее рядом. Чтобы они вступились за меня – не перед другими, а передо мною самим».

Вступалась за него поэзия, перед которой Володин, как помним, благоговел со школьных лет.

Превосходство поэзии и перед прозой, и перед драматургией было для него совершенно неоспоримо. В «Записках нетрезвого человека» он без тени сомнения заявлял: «Хитрая проза жизни может соблазнять лишь тем, что крадет у поэзии. Но, заблуждаясь и погибая (в который раз!), простодушная слепая поэзия то и дело одерживает победу и смотрит сверху на трезвую суетность жизни».

Ничто так не огорчало и не возмущало Володина, как эта самая «трезвая суетность жизни». Ей он противостоял – как мог: побеждал ее и оказывался побежденным, бунтовал и смирялся, протестовал и скоморошничал, – при этом всегда оставаясь самим собой.

Книга стихов Неуравновешенный век

Сны

«Неверие с надеждой так едины...»

Неверие с надеждой так едины,
то трезвое неверье верх берет
и блик надежды угасает, стынет,
но так уже бывало. В прошлый год,
и в прежний век, и в те тысячелетья
надежды всё обманывали нас.
И вновь неверью нечем нам ответить,
и свет надежды все слабее светит,
слабее светит, как бы не погас...

«Отпустите меня, отпустите...»

Отпустите меня, отпустите
рвы, овраги, глухая вода,
ссоры, склоки, суды, мордобитья —
отпустите меня навсегда.

Акробатки на слабом канате,
речки, заводи, их берега,
на декорационном закате
нитевидные облака,
мини-шубки, и юбки, и платья,
не пускайте меня, не пускайте,
на земле подержите пока!

«Необозримый залив полыхает снегами...»

Необозримый залив полыхает снегами.
Он по-соседски в бескрайнее небо глядится.
Два выходных начались, чтобы длиться и длиться.
Лыжницы окольцевали себя рукавами
жарких своих свитеров и наги, как наяды.
Лишь раздевают безумные эти наряды.

Блещет лыжня, уводящая вдаль и навеки.
Встречная тоже уходит в неизвестные дали.
Веки смежив, позабывши обиды, наветы,
лыжницы здесь отрясают земные печали...

Но говорят, будто это лишь два выходных и не боле.
Два выходных перед новой неделей, не боле.
Да и залив – это Финский залив и не боле.
Просто уставился в местное небо, не боле.
Что же до лыжниц – туда по лыжне и обратно.
Просто обратно по встречной лыжне и не боле.
Так говорят. И возможно, не боле. Вполне.
Я и поверил бы на слово. Если бы не —
небо! Так запросто смотрит на снежное поле!
Словно бы в зеркало так по-соседски глядится
будто и жизнь началась, чтоб навеки продлиться...

«Сначала трясса на подножке...»

Сначала трясса на подножке
от контролеров поездных,
потом проник в вагон, к окошку,
потом на мягкой полке дрых,

потом утратил осторожность,
не помню сам и как – отстал.
Один стою в пыли дорожной,
уходит медленный состав.

Вагонный разговор уехал
и маленький портфель идей,
а я стою как бы для смеха,
для развлечения людей,

которые глядят из окон.
Все едут мимо поезда...
Стою в сомнении жестоком,
что они едут не туда.

«А что природа делает без нас?..»

А что природа делает без нас?
Кому тогда блистает снежный наст?
Кого пугает оголтелый гром?
Кого кромешно угнетает туча?

Зачем воде качать пустой паром
и падать для чего звезде падучей?
Ни для кого? На всякий случай?..
Вода бесплодно по березам льется,
глухой овраг слепой водой залит...
В надежде роща только обернется —
он тут как тут. Остолбенеv стоит.
– Ау! – вскричит. И кто-то отзовется.
И роща сразу примет должный вид.
Осмысленно замельтешились сосны,
и лопухи как никогда серьезны...
Вокруг него расположился космос,
над ним звезда падучая летит.

Плес

Здесь некогда я жил в гостинице,
еще счастливым был тогда.
Приехал с городом проститься,
другие минув города.

Здесь некогда, ведомый счастьем,
я на холмах набрел на *чашу*, —
иначе как назвать, не знаю, —
земная впадина средь чаши
простерлась, сдержанно блистая.

Травнистый кратер всей земли.
Господня, думалось, криница.
Березы наискось росли,
счастливые над ней склониться.

И мнится: рощу перейти —
и чаша тихо заблестит.
А вот ищу – и не найти.
И местные о ней не знают.

И каждый мудрой головой
покачивает: мол, едва ли.
Тут все известно, а такой,
как вы искали, не видали.

Нет чаши. Нет березок. Свет
не светится на дне криницы.
Душа могла и ошибиться,
и счастья не было. И нет.

«Сначала были встречи...»

Сначала были встречи.
Что ни день – то встреча.
С одним человеком,
с другим человеком...
Потом начались расставания.
С одним человеком —
ее обмотали шарфиком
и куда-то увели.
С другим человеком,
его, говорят, куда-то увезли.
Но вот уже ты сам себе хозяин.
Можешь ни с кем не расставаться.
А надо не надо – расстаешься.
Добро бы со знакомыми —
с друзьями!..
С любимыми!
Зачем расставаться с любимыми?
Ради других любимых?
С которыми тоже расставаться?
А с ними ради чего?
Ради того, чтобы наконец
расстаться со всеми вместе?

«...Как бел был снег, как реки чисты...»

...Как бел был снег, как реки чисты,
как небо в этих реках сине.

Валютные специалисты
носили доллары в торгсины
а по небу аэропланы
а по Москве автомобили
а пионеры в барабаны
а диверсантов посадили
а ввысь строительные краны
а женщины еще не пили
а вглубь большие котлованы
а мы – *чтоб сказку сделать былью*
преодолеть пространство и простор
нам разум дал стальные руки-крылья
а вместо сердца пламенный мотор.

«Стеснительные ночлеги...»

Стеснительные ночлеги,
как рано они начались.
Запомнилась мне навеки
неполноправная жизнь.

«...Утром, ранним солнечным утром...»

...Утром, ранним солнечным утром только и может это вспомниться. Только проснувшись, можно представить себе это.

Дождь по крышам, по дворовым деревьям. И чем черней небо, чем безысходней дождь, тем счастливей ты чувствуешь свою одинаковость с этим дождем, и деревьями, и переулками, и освещенными окнами домов, за которыми живут понятные и необходимые тебе люди, которым так же необходим и понятен ты. Сейчас вы друг другу еще не известны, но потом, в будущем, когда ты отдашь им свою жизнь и будешь умирать под белый шум дождя, а они, уже не в силах спасти тебя, будут тихо стоять вокруг...

Звёзды тех, еще тридцатых лет

«Сухие заборы мои...»

Сухие заборы мои
разбиты, разбиты.
Рассветные зори мои
забыты, забыты.

И давние двери мои
завешены пылью.
Там жили богини мои,
уроки учили.

«Таинственную, как ее узнать?..»

Таинственную, как ее узнать?..

Неведомую из соседней школы,
загадочную из другой квартиры,
и новогодних елок, и кружков,
и отставаний по другим предметам?

Теперь-то знаем мы, что бытие
по существу определяет все.
Мы знаем сослуживиц, их подруг,
соседак, родственниц, официанток.

Таинственную, как ее узнать?..

В какой-то степени всегда возможно
предположить, кто чем живет. Соседки,
как правило, похожи на соседак,
официантки – на официанток.

Загадочную, как ее узнать?

Неведомую, из других забот,
других обид, привычек, удовольствий
и отставаний по другим предметам?..

«У Сухаревой башни...»

У Сухаревой башни,
где Сухаревский рынок,
торгуют мамы наши
шнурками для ботинок.
В рабфаках наши братья.
Сияют горизонты.
Лишенки в длинных платьях
от солнца носят зонты.
В ячейках сестры наши,
багровые косынки.
Оранжевая башня,
надменный палец рынка...

Сестренки наши седы.
Состарили победы.
И братьев – треть от силы.
Победы покосили.
И пионеров больше
не дразнят хулиганы.
Туристы едут в Польшу,
артисты едут в Канны.
И Сухаревой башни
уже в помине нет.
Остался гром вчерашних
и нынешних побед.

«Я – в Москве. Угнетен и рассеян...»

Я – в Москве. Угнетен и рассеян,
по давнишней Мещанской бежал.
Вдруг – пахнуло... Листою осенней
погребенный, как жалок, как мал
Ботанический сад наш! В Грохольском
переулке размером в пятак.
Не припомню, за вход сюда – сколько?
Ну, а через забор – и за так.
Были девочки в темной аллее,
с книжкой каждая. Запах пруда.
Были лилии. Стоя, белели.
Было... После уроков – сюда.

У забора стою. Только запах
облетелой листвы. Где они,

эти девочки в светлых панамах
на скамейках в подвижной тени?

«Звезды тех, еще тридцатых лет...»

Звезды тех, еще тридцатых лет.
Вы светили сквозь слои печалей...
Меченные мрачною печатью
отрочества, мы ходили вслед
девочкам, которые носили
шубки москвошвеевского стиля...
Этих звезд уже в помине нет.

А капли сверк, сверк...

«Ты, музыка, так беспредметна...»

Алисе Фрейндлих

Ты, музыка, так беспредметна —
нет бань, собак, древесных крон,
а лепет флейт и громы медных —
лишь звуки. Боль, удар и стон.

В тебе я не ищу порядка.
Восторг с печалью пополам.
В тебе безмерно то, что кратко
и смутно жизнь шепнула нам.

«Тихо в доме, ах как тихо в доме...»

Слушая Шопена

Тихо в доме, ах как тихо в доме,
за окошком снег, и он не слышен.
Медленный рояль роняет громы.
То пониже громы, то повыше.
То взбираюсь в черные высоты,
то внезапно рушусь в немоту...
И забыты все обиды, все заботы
в тихом доме, в тихом снеге на лету.

«А капли сверк, сверк...»

Слушая Скрябина

А капли сверк, сверк,
травинки мокнут...
Травинки вверх, вверх,
хотя б немного.

И горы вверх, вверх
еще немного,
там нет дорог, вех,
им одиноко.

И трубы вверх, вверх,
уже охрипли,
сзывают всех, всех,
вопят, как выпи!

А сердце вниз, вниз,
вот-вот устанешь,
вот-вот падешь ниц,
уже не встанешь...

«Музыка – беседа с Богом...»

Музыка – беседа с Богом.
Поначалу как могла —
визги дудки, рыки рога,
где не свет еще, а мгла.
Научилась понемногу
светлым громам, струнным звонам...
Разговаривает с Богом,
слушающим изумленно.

Соната

– Попрошу вас, мне того салата
и, пожалуй, этого вина.
– Тишина! Товарищи, соната!
Митя исполняет нам сонату! —
Пианиста слушает жена.

Музыка между столами бродит,
неуместно так обнажена.
Вина, воды, фрукты, бутерброды...
Пианиста слушает жена.

Нет, кому нужна сейчас соната!
Ладно, ее дело сторона.
– Кстати, он сильнее играл когда-то. —
Пианиста слушает жена.

Листопад аплодисментов пылких.
Лишь одна не хлопает она.
Тосты, клики, вилки и бутылки...
Пианиста слушает жена.

«Творчество человеческое – это вызов...»

Творчество человеческое – это вызов
небытию, необжитой пустоте мироздания.

Он сжёг себя на площади центральной

Воспоминание о сороковом годе

Наш полк был поднят по тревоге.
Мы совершили марш-бросок.
Куда ночные шли дороги —
никто из нас и знать не мог.

На место прибыли к рассвету.
Рубеж заняли огневой.
Как в праздничные дни, котлеты
Раздали с кухни полевой.
Указаны орудьям цели.
Там враг неведомый засел.
Тут мы в готовности засели.
День поднимался, тих и бел.

Приказ начать артподготовку
полкам в одиннадцать ноль-ноль.
Отдельный дом с резным флагштоком,
лесок с отдельной сосной.

И ворошиловская лава,
царица славная полей,
покатит грозно, величаво
за шквалом наших батарей.

Но что такое? В десять тридцать
приказ: огня не открывать,
а мирно перейти границу
и без стрельбы, едрена мать!

И перешли ее без боя.
С оркестрами. Парадный строй.
Туда, где дом стоял с резьбой
и лес с отдельной сосной...

Из газет мы узнали, что Эстония, Латвия и Литва добровольно влились в единую семью советских республик.

В Таллине 50-й год

Порабощенная страна.

Я не сановный, не чиновный,
но перед ней уже виновный,
хоть это не моя вина.

Наносят мелкие обиды.
Что делать, им стократ больней.
Терплю, не подавая вида,
за грех империи моей.

В Вильнюсе 50-й год

Этот верующий город,
верующая страна.
Под пятой России гордой
распята. Не ты одна.
Так покайся перед ликом
Бога – он тебе родной —
и за грех страны великой,
у которой ты рабой.

Еще о Вильнюсе Годовщина

Он сжег себя на площади центральной.
Всех оторвал от неотложных дел.
Мир онемел. Одною больше раной.
– Как сжег?!
– Да говорят, сгорел.
– С чего же он?
– Да говорят, что ради
свободы родины. Вообще, протест.
Милиции вокруг как на параде.
– Но говорят, что он был ненормальный?
– Он был нормальной всех нормальных нас!
Один нашелся. Времена туманны.
То факел правды на земле погас.

Сегодня годовщина. На кладбище
его могила. В этот день пусты
дорожки меж крестов. Кого-то ищут.
Милиции указаны посты.
Из-за оград летят, летят цветы.

«Слегка воздевши пальцы пушек...»

Слегка воздевши пальцы пушек,
освободительные танки
по городам ее прошли.
Чехословакия послушна.
Чехословакии останки
лежат в пыли.

Взялись за новую работу.
Теперь в пыли Афганистан.
Тебе войска несут свободу.
Несут, несут – поныне там.

Как много в этом мире пыли!
Орудья танков бьют, как били.
По неизведанным дорогам,
приподнимая пальцы строго,
они еще гремя пройдут.
Свободы ждут и там и тут.

1982

«Четырнадцать рабочих расстреляли...»

Слухи о событиях 62-го года в Новочеркасске были сумбурны. А недавно по публикации статьи в «Литературной газете» я узнал, что к расстрелу были приговорены семь новочеркасских рабочих за недовольство повышением цен и понижением зарплаты. Потом я узнал, что по недоразумению расстреляли еще семерых.

Четырнадцать рабочих расстреляли.
Пальба была в упор, как на войне.
Но говорят – вину свою признали...
Иначе, говорят, как уличить в вине?
Пускай они и не были виновны,
суров закон и на расправу скор.
Стволы винтовок ожидают новых.
Тут ближний бой! без промаха! в упор.
Не настрелялись. Сколько лет минуло,
родимая винтовка ищет лба.
Вы видите? Там поднимают дула.
Вы слышите? Там залп, идет пальба.

Из Дневника «Нас времена всё били, били...»

Нас времена всё били, били,
и способы различны были.
Тридцатые. Парадный срам.
Тех посадили, тех забрили,
загнали в камеры казарм.

Потом война. Сороковые.
Убитые остались там,
а мы, пока еще живые,
все допиваем фронтовые
навек законные сто грамм.

Потом надежд наивных эра,
шестидесятые года.
Опять глупцы, как пионеры,
нельзя и вспомнить без стыда...

Все заново! На пепелище!
Все, что доселе было, – прах:
вожди, один другого чище,
хапуга тот, другой, что взыщешь,
едва держался на ногах...

И кажется, быть пусту миру

1939-й, 40-й, 41-й...

Тогда служили по три, четыре, пять лет, не отпускали никого. До предстоящей войны, которая оказалась неожиданной.

Казарма, красноармейская служба.
Мальчишки, виновные без вины.
Уставы, учения, чистка оружия,
Почетные лагерники страны.

Служили, служили, служили, служили...
Бессрочное рабство. Шинели – ливреи.
Несметная армия в мирное время.
Эпоха нежизни, года-миражи.

«Я с музыкою жил тогда...»

Я с музыкою жил тогда,
готовый с ней туда, где битва,
где смерть на людях – не беда...
Но, занимая города,
война сама пришла сюда.
И музыка была убита.

«Нас матери на руки сдали...»

Нас матери на руки сдали
короткой победной войне.
Нам скорбно доверился Сталин.
Кому это нам? Это мне.

Как мины постыло скрежещут,
как женщины мучат во сне.
Нам век не хватать будет женщин.
Кому это нам? Это мне.

«Все еще, хотя и реже...»

Все еще, хотя и реже

снят сны, где минный скрежет
и разрывов гарь и пыль.
Это – было, я там был.

Но откуда – про глухие
стены, где допросы, страх,
сапогом по морде, в пах?..
Я там не был! Но – другие...

«Аккуратно, перед наступлением...»

Аккуратно, перед наступлением
все по кружкам разливают водку.
Порошенный снегом суп глотают,
хлеб дожевывая на ходу.

Мы с Суroidиным сидим в сторонке.
Может быть, последний ломоть хлеба,
может быть, последний раз из фляги
водку разливаем пополам.

Выпили. Чтоб тот, кто уцелеет,
помнил этот день оглохший, белый
и домой вернулся и за друга
две хороших жизни пережил!

У него в спине была воронка.
Мелкая воронка, но насквозь.

1942

«Снега незрячие. Слепые...»

Снега незрячие. Слепые
дожди сшивают с небом землю.
Ее заносит тихой пылью
ветра, от года к году злее.

Несут тяжелые уроны
войска от танковых атак.
Убитых вороны хоронят
на безымянных высотах.

И кажется, быть пугу миру.
Народы мечутся в падучей.
На снос назначена квартира.

Другая где? Найдется лучше?

«В траншейных профилях земли...»

Станиславу Любину

В траншейных профилях земли
мы пели. А над нами пели
снаряды. Плакали, скрипели
и подпевали, как могли.
Почти не помню песню ту.
Но были там слова такие:
«Не для меня сады цветут.
Не для меня придет весна
и песней жаворонок залется,
и кто-то в роще отзовется
с восторгом чувств не для меня!»

И вот весна пришла. Не для
меня. И жаворонок залился.
А я напился и свалился
в канавы, травы и поля.

Никто, никто не помнит слов.
Кто помнил – тех уж нет на свете.

«На фронте была далеко идущая мечта...»

На фронте была далеко идущая мечта:
если бы мне разрешили —
потом, потом,
когда кончится война,
когда совсем кончится
и все уже будет позади, —
тогда чтобы мне разрешили
хоть немного еще пожить
и просто оказаться Там
и просто увидеть...
И мне разрешили.

Не просто смотреть но
подниматься и опускаться
обижаться и не обижаться
забываться и не забываться
соглашаться и не соглашаться

напиваться и не напиваться
и еще тысячу всего
только на эту рифму
и еще сто тысяч на другие.

Стыдно быть несчастливым.

1946

Откуда снова этот свет

«А женщины...»

А женщины,
самые, казалось бы, несовершенные,
иногда говорят такие слова...
И так смешно шутят,
и так пронизательно думают о нас —
чтобы нам было лучше,
чтобы нам было сладко —
с последней из всех – как с первой из всех.
И то и дело это им удастся,
то тут, то там,
то так, то сяк,
а если не удастся —
они страдают молча.
А если говорят —
иногда говорят такие слова...

«Девушки высокими ногами...»

Девушки высокими ногами
возражают против моногамии.
Но, полуодетые по-летнему,
линиями семнадцатилетними,
вырезом, открытой спиной
мне напоминают об одной.
Гордые, недобрые и добрые,
вдумчиво колеблясь и маня,
лишь твои опасные подобию.
Все тобою мучают меня.

«Ты осветила все, что было прежде...»

Ты осветила все, что было прежде,
задолго до тебя,
таким весенним
таким широким светом!
И при свете,
как в позабытом школьном сочиненье,
рассеянно исправила ошибки:

уступчивость мою – на Доброту,
неправоту мою – на Правоту...
Погасишь свет – и станет так темно!
И все ошибки – на своих местах.

«Женщины, нас под руку берущие...»

Женщины, нас под руку берущие,
если надо – понемногу врущие,
если надо – правду говорящие,
если надо – над землей парящие,
как бы неземные существа,
вниз, на нас, глядящие едва.
Как вы нас разумно утешаете,
как вы необходимо нас прощаете.
Полной средней школой недоученные,
вы во все вникаете так вдумчиво!
Собственной судьбою
озабоченные,
собственной бедою
замороженные,
нас как будто и не утешаете,
просто между делом потешаете —
беспечными словами,
усталыми руками,
дурашливым лицом,
соленым огурцом...

«А некогда – одна из вас...»

А некогда – одна из вас,
сама своей не зная силы.
неясным светом заслонясь,
нас обожанию учила.

Чтобы потом за нею следом
и вы, встречаясь на пути,
светили нам таким же светом,
как некогда она. Почти.

«– Вы не скажете, как пройти...»

– Вы не скажете, как пройти

к кинотеатру «Великан»? —
Она могла бы это спросить
у любого другого встречного.
Она могла бы так улыбнуться
любому другому встречному.
Она могла бы швырнуть
все свои веснушки,
ни одной не оставив про запас,
в любого другого встречного.
Но она спросила у меня,
и улыбнулась мне,
и все свои веснушки,
не жалея, швырнула мне.
Вы скажете: «Ну и что?»
Спросила, как пройти в кино». —
Но *как* спросила!
И как улыбнулась!
И как засыпала меня веснушками!
Она прекрасно знала, что делает.
А я ответил, и смотрел ей вслед,
и не посмел сказать «спасибо».
Спасибо за то, что она спросила,
спасибо за то, что она улыбнулась,
вообще-то говоря, как первому встречному.
Но встречным-то оказался я!
И она
не взяла обратно свои слова.
Не взяла обратно свою улыбку.
Не взяла обратно ни одной веснушки!

«„Девушка, не бросайте, пожалуйста“...»

«Девушка, не бросайте, пожалуйста».
Стоят в троллейбусе,
стоите в троллейбусе,
стоим в троллейбусе.
«Девушка, не бросайте, пожалуйста,
копеечку!»

Бросили за жизнь столько копеек!
Бросили жизни,
каждый третий – целиком,
каждый второй – половину,
остальные думают, что не бросили,
что использовали с пользой —
а теряют их незаметно,
вот-вот потеряют до конца.

Но стоят в троллейбусе,
стоите в троллейбусе,
стоим в троллейбусе.
«Девушка, не бросайте, пожалуйста,
не бросайте, пожалуйста,
копеечку!...»

1981

Массовка в кино

Какая вдруг осанка у статистки
и как умеет голову нести,
когда пылают огненные диски,
держа ее в серебряной горсти.

Домохозяйки, продавщицы – просто
усталая массовка у стены.
Как вспомнилась им эта плавность, поступь,
неспешность и держание спины?

– Эй, фрейлины! Быстрее! Сроки, сроки!
По лестнице! Под музыку! Наверх!..

Как просто это вспомнилось массовке,
как жалко, что забудется навек.

«Откуда снова этот свет...»

Наташе Гундаревой

Откуда снова этот свет
небес и шумный блеск дождей?
Откуда ветер? То есть – ветер?
И женщина, и тайна с ней?

Как долго прожил в темноте,
уединился ото всех!
Где были те дожди, и те
снега, и свет, и женский смех?

И вновь гроза! И снова я
овеян ею с головой!
Как ярки тучи надо мной!
Как ты безмерна, жизнь моя!

«Я хочу работать!..»

Я хочу работать!
Только когда я работаю,
мне хорошо.
Когда – с интересом,
Когда – с обалдением,
когда после работы необходимо выпить,
поорать, поохотать,
поспать, проснуться
и опять работать!
Если я отдыхаю, мне не так хорошо,
как тогда, когда я работаю.
Хорошо отдыхать тогда,
когда повезло в работе.
А когда не везет в работе —
от чего, собственно, отдыхать?
Когда я люблю —
мне хочется между делом рассказать ей,
как мне повезло в работе.
А если мне не везет в работе —
я не спешу к ней,
я не бегу к ней.
Я волочусь к ней за утешеньем
в том, что мне не везет...

«Недвижно пылают закаты...»

Недвижно пылают закаты.
Рассветы восходят сурово.
Готовы к убийствам солдаты,
и беженцы к бегству готовы.

Готовы супруги к разлуке,
готовы к беде властелины.
Тем временем полдень над лугом
склоняется, жаркий и длинный.

Готовы к обманам святоши
и к недоеданию дети.
Готовы могилы.
И все же
рассветы восходят и светят...

«Она была давно замужняя...»

Она была давно замужняя,
давно кухонная, давно
усталая, давно ненужная,
с утра глядящая в окно —
как там с погодою, тепло ли,
что ей на улицу надеть...
Все в прошлом молодые роли,
пора скучать, пора сесть,
пора подлаживаться к мужу,
винить себя, прощать ему
и думать, что могло быть хуже,
и значит – что: быть по сему.
Зачем надеяться на тайны ей
там, где уныло и темно?
Зачем ловить слова случайные,
зачем с утра глядеть в окно?
Там улица, там рынок видится,
ларьки спиртного, туалет...
Нет тайн, нет рыцарей, нет витязей,
не время им, вот их и нет.
Зачем тогда искать ей большее,
чем видится на первый взгляд?
Зачем кухонное все горше ей?
Зачем мечтания парят?
Зачем предчувствия палят?..

«По статистике, многие женщины...»

По статистике, многие женщины
от усталости сходят с ума.
Не позором – базаром развенчаны
в сумасшедшие едут дома.

И живут на окраине города
в корпусах за глухими оградами,
некрасивые и негордые,
непричесанные, ненарядные.

Им мужья передачи приносят.
Детям врут, что они отдыхают.
Они больше не требуют – просят.
Они больше не плачут – вздыхают.

И мужчинам дают указания,
чтоб питались! И чтоб не терзались!
Осторожно по улице шли!
И чтоб нервы свои берегли!..

«А девушки меж тем бегут...»

А девушки меж тем бегут,
пересекая свет и тьму.
Зачем бегут? Куда? К кому?
Им плохо тут? Неплохо тут.
На них бредущие в обиде.
Завидуют уставшие.
«Бегите, девушки, бегите!» —
кричат им сестры старшие...
Бегите же, пока бежится.
А не снесете головы —
хотя бы память сохранится,
как весело бежали вы...

«В моей комнате людно...»...

В моей комнате людно,
в моей комнате тесно:
по одной программе – лютня,
по другой программе – песня,
а на радиоволне —
«Гаянэ»,
исполняет ансамбль
«Танец с саблями»...
Мне б хватило вполне
в этом доме одной.
Не позвать ее мне —
так обижена мной.
Не ответит на вызов,
она дома сидит,
и ее телевизор,
как меня, веселит.

«Солдатской переписки строки...»...

Солдатской переписки строки.
Письмо в расчете на ответ

той незнакомой, той далекой
в подшивке полковых газет,
которая светло и странно
глядит с газетного листа.
Черты ее лица туманны —
всегда туманна красота.
Простые сведенья сначала:
работа. Братик. Мама. Дом.
Знакомство. Жалоба на жалость.
А чувства? Нет, они потом.
О том, чтобы соединиться,
пока и речи в письмах нет.
Там лучшая души частица,
и лучшая придет в ответ.
Живут и писем ожидают
двух почт счастливые рабы.
Уже меж строчек полыхают
тоска, предчувствие судьбы...
Сто лет прошло. Я получаю
смешное в сутолоке дня
письмо от женщины случайной,
совсем не знающей меня.
И вот сажусь за стол, как прежде.
Очки надел. Включаю свет.
В полукомической надежде
я, как солдат, пишу ответ...

«День мокроватый, тихий, зимний...»

День мокроватый, тихий, зимний.
Неспешно по делам шагаю.
Дела простые: магазины,
библиотека, мастерская,
бутылки сдать, зайти на рынок,
не позабыть томатный сок,
купить шнурки, подбить ботинок,
что там еще?.. Пожалуй, все.
По воскресеньям учрежденья
закрыты, справок не дают.
Выходит, побывал везде я,
а время два без трех минут.
А я как раз стою у дома,
где некогда, как говорится,
я был любим... А что, ввалиться
с авоськой прямо, по-простому?
Проверить, глазки так же сини?
Что с ней сейчас? Какая?..

Но...

– Вы что, не знаете? – спросили.

А я не знал.

– Давно?

– Давно.

А как вились вперед дороги,
щемящей верою маня,
что впереди такого много,
не угадать, что ждет меня,
что это все – пока, предвестье,
что буду я не раз любим...
Как хорошо нам было вместе,
обоим было, нам двоим!..

«Не забыть этот сон...»

Не забыть этот сон.
Каменистою речкой летели.
Валуны и песчаные мели.
Не забыть этот стон.

Он – потом. Долетели.
Вот он —
город на возвышенья. Бревенчат.
Желтым домом культуры увенчан.
Не забыть этот стон.

Город прочный, незыблемый, старый.
Правда, фабрика – наших времен.
Вход завален порожнею тарой.
Не забыть этот стон.

Я спускаюсь осклизлой дорожкой.
«Как красиво!» – слышалось мне.
Бабы в чанах мешают окрошку.
Понимаю, что это во сне.

Тут она на меня посмотрела
сквозь венок, почему сквозь венок?
Посмотрела неясно, несмело.
Чан с окрошкой, мешалка у ног.

Раз венок, я подумал – простила.
Значит, ей в подземелье пустом
хорошо? Боль на миг отступила.
Не забыть этот стон...

«Нас только двое, только двое...»

Фриде

Нас только двое, только двое.
Мы на пустом столе войны
всего лишь горькою бедою
одною соединены...

Когда судьба бедою веет,
когда сума, тюрьма и суд —
насколько эта связь прочнее
благополучья слабых пут!

«Очевидно, чувство любви, которое...»

Очевидно, чувство любви, которое может стать радостью существования, не отказывает себе в праве поиздеваться. Подурачит, поводит за нос, собьет с толку, заморочит, десять раз обманет, а потом уж — перед кем искупит свои забавы, а перед кем и нет. Так и проживут — и думают, что все в порядке.

И снова морочит: вон идет девушка — золотистоволосая, платье треплется на ветру, она трубит в трубу... А это она просто пьет из бутылки молоко, в обеденный перерыв идет из магазина. Ну и что, могла бы идти прекрасная с трубой где-нибудь в другом месте, в другое время. А вот на вокзальной скамейке задумалась, печально склонила голову... А приглядишься — лицо у нее одутловатое после портвейна: просто ей трудно поднять голову.

На шаре тесеньком

«Во Франции неважные дела...»

Во Франции неважные дела.
Продукты дорожают и вообще.
Но Франция вполголоса поет
под контрабас, ударник и рояль.

В Италии, глядишь, то наводнение,
то террористы, то землетрясение —
она поет, поет под мандолину
или гитару или просто так.

Америка в преступности увязла
и с неграми никак не разберется
и те поют. И белые, и негры.
Приплясывая перед микрофоном,
блистая приглушенным саксофоном...

А нам и Бог велел. Поем народные.
Попсовые. Старинные. Походные.
Блатные. Философские. Победные.
Полезные, безвредные и вредные.

На шаре тесеньком
столпились мы,
друг другу песенки
поем из тьмы.

«Над грустной землей Грузии...»

Над грустной землей Грузии,
над молчаливыми вершинами
столетья сумрачные, грузные
Союз довлеет нерушимый.

Молчат твои селенья горные
и города твои долинные,
таят сопротивление гордое,
хмельное, непреодолимое.

Мужчины – воины в загуле
и по сопротивленью братья.

Их не сломили, не согнули
России дружеской объятья.

И смуглые твои красавицы
из поколения в поколение —
политика их не касается —
участвуют в сопротивлении.

На каждом доме с галереями
распяты на веревках платица.
От игр воинственных дуря,
и дети здесь сопротивляются.

Полотна Пиросмани. Чинные
крестьяне, кони и олени,
застолья длинные, кувшины винные
участвуют в сопротивлении.

Храм из туманного песчаника,
немеркнувшее семисвечие.
Сопротивление печальное,
сопротивление извечное.

И ты же вырастила гения
безверья, палача, раба.
Руси властительной отмщение.
Но кровью страшное крещение,
твой сын, он начинал с тебя.

19 апреля 1982

«Армения, страна-печаль...»

Армения, страна-печаль.
За что судьба тебя карает?
Мечом рассечена сплеча
давным-давно. А все — живая.

Одаривая землю светом,
по миру разлетелась стая
птенцов твоих. Тебе неведом
покой. Идешь навстречу бедам
по лезвиям камней, босая...

1984

«А когда уезжать собрались...»

А когда уезжать собрались —
проводанья, прощанья, прощенья,
сборы, споры в квартирах пустых...
Кому в путь, кому снова под дых,
А кому – ожидание виз,
получили уже разрешение.
– Вы когда?
– Мы в четверг.
– Нам отказ.
Срок истек, подадим еще раз. —
Чей-то родственник щелкал и щелкал
объектива внимательной щелкой.
Лиц еврейских и русских смешенье.
Фото – тем, кто уже собрались,
у кого ожидание виз,
кто уже получил разрешение.
А оттуда неясные вести.
Эти едут, те ждут, те на месте.
Кто здесь мать? Кто сестра? Кто стукач?
Эта плачет. Плачь, милая, плачь.
Сын мой был в долгосрочном отказе, я знал.
Но тогда кто кого – я его провожал.
А фотограф все щелкал и щелкал
объектива внимательной щелкой.

Тогда я увидел молодую женщину. Она ни о ком не плакала. Она была красивая, красивая, красивая! Я спросил ее: «Вы уезжаете?» Эта женщина не уезжала. Я не знаю, кого провожала. Я крикнул фотографу: «Снимите эту женщину! Увеличьте ее портрет и повесьте на стену дома, на улице, с надписью: „Эта женщина не уезжает!“», Впоследствии я узнал, что она живет в Париже.

1976

«Меня ошибочно любили...»

Меня ошибочно любили
Златые женщины твои.
Меня случайно не убили
враги твои – враги мои.

Долдонили, меня позоря,
твои начальственные лбы,
что выносить не надо сора,
пойми, мол, из чужой избы.

Друзей безмолвно провожаю
и осуждать их не берусь.
Страна моя, изба чужая,
а я с тобою остаюсь.

Твоих успехов черед —
не для меня, не для меня.
А для меня твоя война,
а для меня твоя беда.

1976

«А легко ль переносить...»

А легко ль переносить,
сдерживать себя, крепиться,
постепенно научиться
в непроглядном рабстве жить?
И навеки кротким стать,
чтоб не выйти из терпенья,
угасая постепенно,
и смиряться и прощать?
Мол, дотерпим до зимы...
Проползли ее метели.
Так до лета неужели
как-то не дотерпим мы?
А потом до той зимы...
А случится, и до лета,
ну, случится, до тюрьмы
(где-то в смысле шутки это).
И не то перетерпели!
Ведь не мы одни. Теперь
терпят все – и те и эти,
но доколе так терпеть и
сколько можно так терпеть!
Мол, дотерпим до зимы...
Проползли ее метели.
Так до лета неужели
как-то не дотерпим мы?..

1973

«Недобросовестность, ты выживешь...»

Недобросовестность, ты выживешь,
владея средствами простыми:
так осторожна перед высшими —

небрежна перед остальными,
так невнимательно рассеянна,
ты выше всех земных сует.
Ты, бесшабашная, весенняя,
как бы талант и как бы свет...
Нестойкий, ненадежный мир
невыполненных обещаний,
пивных, запущенных квартир,
потерь, обид, судов, прощаний.
Недобросовестность в молчании
свершает беззаботный пир.

Глаза провинциала

Гордый город Москва.
Там начальство в велюровых шляпах.
Там талант на таланте,
и тоже причастны к верхам.
Там вручают награды,
свершают торжественный шабаш.
На угрюмых столах
там безумных бумаг вороха́.

Там клыки как штыки
и любовны лихие улыбки.
Там по пропуску, скромно —
в обширный глухой кабинет.
Там подловят тебя
на твоей нестоличной ошибке.
И готов. И позор.
И на двор. И обратный билет.
Там автобусы
иностранцев везут за добычей,
от щедрот неизведанных
в ЦУМе иль в ГУМе вкусить.
Гордый город Москва.
Вознеслась в магазинном величье
и на алчную родину
пристальным глазом косит.

1985

«Время, ты незапятнано...»

Время, ты незапятнано.
Поглощенные Летою,

оживают распятые,
исчезают воспетые.

Колокольные звоны
память прочили вечную —
вспоминаем казненных.
забываем увенчанных.

«Солнечным сиянием пронизан...»

Солнечным сиянием пронизан,
ветром революции несом,
над землей парит социализм
с получеловеческим лицом.

1978

«Медленные приближались даты...»

Медленные приближались даты,
чтоб настать и промелькнуть тотчас.
Как мы ждали праздников когда-то!
Как они обманывали нас...

«Ушел кровавый день вчерашний...»

Ушел кровавый день вчерашний,
и этот сходит день на нет.
Жива еще планета наша.
Одна средь неживых планет.

«Мы самоеды...»

Ги Данелиш

Мы самоеды —
себя грызущие.
Вам наши беды —
потехи сущие.

В парадном зале
нам не веселье.
Не к месту встали,

некстати сели.

Любовным нежностям
не верим, где там!
За что, мол, не за что!
Мы самоеды.

Уже и седы —
стыдись, скорбя,
не жрем соседей.
едим себя.

«Первый раз в жизни...»

Первый раз в жизни
я перестал понимать:
как жить? Что делать? Ради чего?
Едва слышу,
что кто-то все это знает
и у него все в порядке, —
скорей бегу спросить:
почему у вас все в порядке?
Как вы этого добились?
Но у каждого свои причины,
а мне ничего не помогает.
Может быть, уже пора опускаться?
Но долго опускаться скучно,
а жить осталось еще порядочно.
А может быть, пора уже стать мудрым?
Так я – с удовольствием!
Но в каком смысле?
Что мне надо мудро понять?
Как жить? Что делать? Ради чего?
Но ведь именно этого
я и не могу понять!..

Независимость

Я не буду зависеть от
разгильдяев, от негодяев,
от несчетных дневных забот,
от нелюбящих, нелюбимых,
уважающих нас и не
уважающих – мимо, мимо!
Я от этого в стороне.

«Все беды встали на порог...»

На утерю (плюс ко всему) пропуска на работу.

Все беды встали на порог.
Что ж, лезьте!
Одну бы как-то перевозмог.
Но – вместе!

А у знакомых отпуска,
месяц осенний.
Один в квартире – вот тоска!
Вот невезенье!

К тому ж посеял, все ищу
пропуск...
Что там свистит? То я лечу
в пропасть.

«Ушла поэзия. Укрылась...»

Ушла поэзия. Укрылась
в тени гористой.
Совсем ушла. Сложила крылья,
как говорится.

Казалось, с ней не будет слада!
С ней – в путь тернистый.
Мечты, мечты, где ваша сладость? —
как говорится.

Так запросто входила в дом,
садилась рядом!..
Живем неплохо, хлеб жуем,
как говорится.

«Нашел никем не занятое место...»

Нашел никем не занятое место.
Стоять на нем назначила судьба.
О вашей жизни долетают вести,
забавные, летят ко мне сюда.

Телеанкеты и телевопросы.
Такие есть, что не найдешь ответ!
Вот: «Что такое счастье?»
Все непросто.
«Ты счастлив?»
«Да».
«А если честно?»
«Нет».

«ВИНОВНЫХ Я КЛЕЙМИЛ, ЛИКУЯ...»

Михаилу Козакову

Виновных я клеймил, ликуя.
Теперь иная полоса...
Себя виню, себя кляню я.
Одна вина сменить другую
спешит, дав третьей полчаса.

«ОТКРЫТЬСЯ ЖИЗНИ! РАСПАХНУТЬ НАРУЖУ...»

Открыться жизни! Распахнуть наружу
окно мое. Я сон души нарушу!
Как долго заперта была в глуши.
Распахнута душа моя, дыши!

Смотри во все глаза, что происходит
в открытом мире! Появился СПИД!
Кто едет, кто дорогу переходит.
Кто в семь проснулся, кто до часу спит!

Какие толпы населяют землю!
Какие дети на траве растут!
Как наш народ теледебатам внемлет!
Какие компроматы реют тут!

Какие перемены происходят!
То к лучшему, то к худшему они.
Какие громы в поднебесье бродят...
Проснулась ты, душа моя?
Усни.

И чёрные мысли к рассвету

«Проступок, промашка. Оплошность...»

Проступок, промашка. Оплошность.
Почти незаметна она.
Напрасно сорвался. И – в прошлом.
Проступок. Еще не вина.

Не знать угрызений, не ведать...
Что совести пара прорех!
Жизнь эта пока что из света.
Был грех, посмеешься, был грех.

Не время еще покаяться,
и слово такое смешно.
Вина потревожит и канет,
как не было. Было – прошло.

Но где-то копилось возмездье.
Не скрыться, не спрятать лица.
Отныне судьба моя – вместе
с возмездьем прожить до конца.

«Одних обидел – знаю, виноват...»

Одних обидел – знаю, виноват.
Тогда подумалось – и это минет.
Но те грехи нас догоняют ныне.
Забудешь – вспомнишь – снова тяготят.
Других задел без умысла, невольно.
Нечаянно, поверьте, не хотел.
Я просто шел, погодою довольный,
а вот – задел. Напрасно. Между дел.
Без этих мыслей не проходит дня.
Грехи мои, догнали вы меня.

Рассвет

Грехи, и ошибки, и кляксы на жизни.
Смолчал, когда надо ответить,
Сорвался, где надо смолчать.

Стыды, и ошибки, и черные мысли к рассвету
У каждого мысли свои и по-своему мучат.
А жизнь моя – это подарок.
Война подарила ее или Бог подарил, неизвестно.

Не быть благодарным грешно...

«Я судьей себе стал, палачом...»

Я судьей себе стал, палачом.
Что ни день, то казнь себя заново.
А тогда – было все нипочем...
Вот за это несу наказание.

Все удачи, успехи по сути
Позабыты. И тяжкие сны...
Сколько было дурацких поступков!
Оказалось, они и грешны.

Не начальник, не хам и не вор,
и, сдается, не зол и не жаден.
Но выносит судья приговор.
Не один приговор – десять за день.

«Казалось, жалкой жизни не стерпеть...»

Казалось, жалкой жизни не стерпеть:
тогда уж лучше кувырнуться с кручи.
Казалось, если несвобода – лучше
совсем не жить. Тогда уж лучше смерть.

Но – самого себя смешной осколок —
живу, бреду, скудея по пути.
Я знать не знал тогда вначале, сколько
смогу, приноравясь, перенести.

«Друзей моей юности нет...»

Друзей моей юности нет
Их годы войны помололи.
Они – в поле боя и боли,
а я в поле бега от бед.

Никогда не пейте с неприятными людьми

«Не верить в будущий прогресс...»

Не верить в будущий прогресс,
а вовсе, мол, прогресса нет?
А есть собес, и есть обвес,
и просто есть полет планет?

В неведомое, черт возьми,
и непосильное уму?..
Грузи свой скарб, вози, вози,
носи, носи свою суму,

скучай средь торжества торжеств,
не верь среди бесчинства тайн.
И гордо знай, что жесьть есть жесьть,
Песок – песок, трамвай – трамвай.

Рабом кромешной суеты
из тьмы бежать в другую тьму?
Не верить в высшее, чем ты?
Не поклоняться ничему?

1979

«Полоса неудач...»

Полоса неудач,
то ль хихикай, то ли плачь.
Не денешься никуда —
полоса стыда.
Так и ходишь полосат:
бед полоса...

Но вдруг – что такое?
Нечто вроде покоя.
Нечто вроде снова
каких-то сил.
Ты не так уж скован,
не так уж хил.
Друзья подали вести,
думал, нет их нигде.
А они, как известно,
познаются в беде.

Простые заботы,
охота работать.
Сегодня суббота,
плохая погода.
Но там – воскресенье,
два выходных.
Удача? Везенье?
Живут и без них.

«Он был веселый человек...»

Он был веселый человек
и любил все веселое:
веселую музыку —
и сам что-то свиристал на чем-то,
веселые пляски,
когда веселые девушки
что-то одинаковое ножками,
и одинаковое ручками,
и забавное золотыми головками.
Он любил хорошую погоду,
когда все светится, даже то,
чему, казалось, никак не положено.
Его специально звали в гости,
чтобы он там всех веселил.
Но время шло...
Собирались по-прежнему компании,
но уже не такие молодые,
и многим уже не до веселья,
а он все веселится!
Наконец, это веселье
стало просто подозрительным
(серьезное время, никому не до веселья),
и его – трах! —
в психиатрическую больницу.
Вот тут он оказался на месте:
врачи его любили,
и сиделки любили,
и больные любили,
и все, как один, жалели,
когда он – бац! – об стенку головой.

«Беззвучно пролетают мимо...»

Беззвучно пролетают мимо

немые дни. Недели-мимы.

– Задумайся! – мне намекают
и молча мимо пролетают.

Нищаю, чувствую – нищаю.
Но по привычке обещаю:

задумаюсь, придет пора...
А та пора прошла вчера.

Пивной бар «Мальборо»

Входите, милые, не бойтесь,
официанток не робейте.
У них такие же заботы,
у некоторых дома дети.
Вы перед ними не пасуйте,
меню читайте, не стыдясь.
У них лишь вид такой, по сути
они ничем не лучше вас.
Просительно не улыбайтесь
и веселитесь без помех.
Стеснительные, не стесняйтесь,
как я, дурак, стесняюсь всех.

«Надо следить за своим лицом...»

Надо следить за своим лицом,
чтоб никто не застал врасплох,
чтоб не понял никто, как плох,
чтоб никто не узнал о том.
Стыдно с таким лицом весной.
Грешно, когда небеса сини,
белые ночи стоят стеной —
белые ночи, черные дни.
Скошенное – виноват!
Мрачное – не уследил!
Я бы другое взял напрокат,
я не снимая его б носил,
я никогда не смотрел бы вниз,
скинул бы переживаний груз.
Вы оптимисты? И я оптимист.
Вы веселитесь? И я веселюсь.

«Живем, мужаем...»

Живем, мужаем.
Всегда при деле.
Сооружаем
себе пределы.
Тут можно смело,
а там – нельзя.
Меж тех пределов
живем, ползя.
Свод правил этих
усвоен всеми.
Что делать – дети.
Что делать – семьи.
Удел обыден.
А между дел
последний виден
уже предел.

«Городской я. Московский и псковский...»

Городской я. Московский и псковский.
Ленинградский. Росток площадей,
переулков, парадных и скользких
тротуарных осенних дождей.
Здесь глухи и стозевны квартиры.
Здесь соседи воют с судьбой.
В небесах просверлившие дыры,
телемачты довольны собой.
Здесь и беды мои, и просветы
в бедах. Правда, просветы редки.
Здесь киоски, афиши, газеты,
здесь рука протянулась реки,
где купаться нельзя...
Мирозданья
неземное сиянье и вихрь
так далеко! Я скоро устану,
я плутаю в дворах проходных.

А в горах, под привычной звездой,
с мирозданьем един, до утра,
терпелив, безмятежен, спокоен,
греет руки пастух у костра.

«Как безупречна гибель в блеске сцены!..»

Олегу Ефремову

Как безупречна гибель в блеске сцены!
Порок кляня. И шпагою звеня.
Но в жизни
смерть постигли перемены.
Сначала речь покинула меня.

Порок бушует, как, едрена мать,
и прежде бесновался в мире этом.
А я замолк. Не пользуюсь моментом,
хотя по роли требуется мат.

Стою без слов. Не досказав. Немой.
Не уползти, не скрыться за кулисы.
Текст расхватили подставные лица,
Хотя, признаться, не ахти какой.

А правда ныне смело вопиет
и требует снести и переставить,
и срочно непонятное исправить.
Разверст ее кровотокающий рот.

И вот – вперед. Ликуя и трубя.
Такое время, полоса такая.
Забыл слова. Смолкаю. Отвыкаю.
Сначала отвыкаю от себя.

80-е годы

«Отныне ставлю вас в известность...»...

Отныне ставлю вас в известность,
что без отсрочки, проволочки
я выбыл из игры нечестной.
На этом я поставил точку.

Забыл отныне своды правил,
условий и другой стены.
На этом точку я поставил
и вышел с Богом из игры.

Кто хочет – салит, ловит, тащит,
кто хочет – бьется в стенку лбом.

Отныне скромный и молчащий,
поставил точку я на том.

«Не могу напиться с неприятными людьми...»

Не могу напиться с неприятными людьми.
Сколько ни пью – не напиваюсь.
Они уже напились, а я – никак.
И только понимаю их еще лучше.
И чем больше понимаю – тем противней.
Никогда не пейте с неприятными людьми!

«Это, что ли, жизнь кончается?..»

Это, что ли, жизнь кончается?
Пять. Четыре. Три...
Под ногой доска качается
и конец игры?

Это значит – притомились?
До свиданья всем?
Но со счета где-то сбились.
Десять! Восемь! Семь!

Сроки снова отменяются.
Это мне за что?..
Правилам не подчиняются.
Триста! Двести! Сто!

«А есть собаки...»

А есть собаки.
Они не умеют читать,
ничего не читали, ни одной строчки!
Ни разу по этому поводу
у них не колотилось сердце,
не подступал комок к горлу,
они ни разу не хохотали,
не перечитывали вслух своим знакомым.

А есть коровы,
только и знают, что жуют свою жвачку,
ничего не делают своими руками.

Не смогли бы, даже если бы захотели!
Пустяковый подарочек теленку —
и то не в силах.
Не говоря уже о работе ума:
что-нибудь сочинить,
сделать мало-мальски серьезное открытие
на пользу таким же коровам, как они,
и взволноваться этим, и вскричать:
«Черт побери!»
Ничего для них не существует.

Да что там, есть улитки!
Им за всю свою жизнь
суждено увидеть метр земли максимум...
Просто видеть!
Просто смотреть, что происходит,
когда совсем, совсем кончилась война.
Нет, если бы мне разрешили одно только это —
я бы и тогда сказал: стыдно быть несчастливым.

И каждый раз, когда я несчастлив,
я твержу себе это:
стыдно быть несчастливым!

1946

«Маленькие мысли...»

Маленькие мысли,
оставьте меня!
Да что это такое,
сгиньте, брысь!
Да я и не думаю об этом!
Я думаю вон о той женщине,
которая пошла через дорогу.
Какое счастье, что такие
существуют на свете...
Что, опять?
Да я с ума сошел!
Да я и не думаю об этом!
Я думаю о море весной,
о грохочущем, светло-зеленом...

Сгиньте, брысь!

Старые фотографии

В прошлое уходят города.
Переулками струятся годы,
словно зеленеющие воды
тихо пропускают невода.

Белые дворянские дома,
желтые торговые лабазы,
местные и царские указы,
Шеллера-Михайлова тома.

Тридцать гимназисток-выпускниц
процветают на музейном фото.
Браки, роды, длинные заботы,
списки богаделен и больниц.

В прошлое ушли ночные споры
древней дооктябрьской поры.
Одиноки серые заборы,
хмуры крыши и грустны двory.

В Сан-Хосе

У девушки на майке «хай».
То есть «привет». А на спине —
«бай», что по-нашему «прощай».
Прошла, на миг став другом мне.

А в супермаркете раскрыты
«зонты для пеня под дождем».
забыты вдруг заботы быта,
и не страшит небесный гром.

Самоучитель по улыбкам
нам надобен, страна моя.
Пособие, как в мире зыбком
сразиться с грустью бытия.

«Рассказ о том...»

Рассказ о том,
как мы с женой и сыном

давным-давно
приехали жить в Ленинград
и поселились в поселке Дибуны.
И знать не знали,
что через две станции
на пригородном поезде —
море!
А моря мы с женой и сыном
не видели никогда в жизни.
И никто вокруг не говорил,
что море близко!
Всем это было так известно,
что и говорить-то было незачем.
А мы хлопотливо жили,
неполноправные, послевоенные,
продлевая временную прописку,
потому что постоянной были недостойны.
А через десять минут на пригородном поезде
было Море!
Там не видно другого Берега!
А на этом берегу – Лес!
Сквозь который видится это Море!
Как в книжках Жюль Верна,
когда путники выходят из джунглей
и кричат: «Море!»

Случай

Держал в руках себя, терпел,
ни слова, что ты!
Покамест не осатанел,
учтивость к черту.
Поверь, пока хватало сил,
был деликатным.
Но вот сорвался и покрыл
начальство матом.
И вмиг – начальства нет на свете!
Не существует!
Свободы эфемерный ветер,
ликуя, дует.

«Я равнодушию учусь...»

Я равнодушию учусь.
То выучу урок, то забываю.

Я равнодушием лечусь,
три раза в день по капле принимаю.
К чему? Во-первых, – к суете сует:
и оттянуться не успеешь – съест.
Всего дотла, всего, по мелочам:
дневная – днем, ночная – по ночам.
К невзгодам мелким, что рядятся в беды,
к ушибам, что до свадьбы заживут,
и к самолюбию, что всегда задето,
и к неустройствам, что всегда гнетут,
к тому, что срок твоих удач проходит,
пора удач настала для других.
Что ж, солнце так же всходит и заходит
не для тебя – так для него, для них...

Я равнодушию учусь.
Вовсю стараюсь, мельтешусь!

«Погода, плохая погода...»

Погода, плохая погода,
неуравновешенный век.
Мы вниз опускались полгода,
а где же полгода, чтоб вверх?

Запросы покорно понизив,
согласны на осень, на снег...
На разные беды – полжизни.
А где же полжизни на смех?

«После бума, и грома...»

После бума, и грома,
и ночных неприличий
с отдаленного дома
слышу песенку птичью.

Свищет скромно и звонко,
нет ни стажа, ни сана.
Голос птицы-ребенка,
отдохнувшего за ночь.

Она свищет, как дышит,
словно вот родилась.
Между небом и крышей

телеграфная связь.

«Я побежден самим собой...»

Я побежден самим собой.
Устал. И небо угасает.
Пора уже, пора...
Постой!
Вгляделся вдаль – а там светает.
Свой крест все тяжелей нести.
А память свод грехов листает.
Жизнь прожита, почти...
Почти!
Вперед вгляжусь – а там светает.

Прошли и высохли дожди,
снег падает и снова тает.
Казалось, темень впереди.
Но вот вгляжусь – а там светает!

«Никогда не толпился в толпе...»

Никогда не толпился в толпе.
Там – толпа, тут – я сам по себе.
В одиночестве поседев,
по отдельной иду тропе.

Боковая моя тропа,
индивидуализма топь.
Где толпа моя?..
А толпа
заблудилась среди прочих толп.

«Эта элита...»

Эта элита
признает Мадонну Литту.
А для элиты той
Литта – звук пустой.
Она ценит, однако,
Кафку и Пастернака.
Сколько разных элит!
Больше, чем простофиль.

Этот – космополит,
этот – славянофил.
Эти – по шашлыкам,
те – по средним векам,
по уральским скитам,
по сиамским котам.
И простые смертные
в пиджаках вчерашних,
так смешно заметные
в их рядах калашных...
Между сытыми, мытыми
извиваюсь элитами.
Свою линию гну:
не попасть ни в одну.

«Укорочен лозунг французской революции...»

Укорочен лозунг французской революции.
Равенство без свободы и братства.
За одно равенство стоило ли драться?
Равенство напившихся в том, что напьются?
Равенство хитрых и ушлых – ушлым?
Равенство глупых с дураками?
Равенство продавшихся – продавшим души?
Равенство рабов в душе – с рабами?
Равенства не надо. Это лишнее.
Умные, дорожите неравенством с глупцами.
Честные, гордитесь неравенством с подлецами.
Сливы, цените неравенство с вишнями!
Города должны быть непохожи, как люди.
Люди непохожи, как города.
Свобода и братство. Равенства не будет.
Никто. Никому. Не равен. Никогда.

«Душа моя, ты все еще...»

Душа моя, ты все еще
такая же. Пока еще
чужды тебе побоища,
позорища, пожарища.
Манили нас масштабами,
просторами, пространствами,
таких, мол, душ там – штабели,
одна еще ты странствуешь.
Брались тебя подравнивать

и обращать в другую.
Уж скручена, уж ранена —
а дудки, ни в какую.
В пустынном поле стоя,
все на своем ты: наось вот!
Не любишь формы, строя,
не терпишь одинаковость.

«Добился я того, что не звонят...»

Добился я того, что не звонят,
почти что не звонят по телефону.
— Я очень занят! Занят я! Занят! —
твержу долдону, звонарю, пижону.
Добился я того, что не звонят.

Но телефон чудовищен молчащий!
Ему природой велено звонить.
К чему мне этот незвонящий ящик,
с округлым миром порванная нить!

Но чу... Звонок. Кого? Постой, постой.
Таких здесь нет. И не было. Едва ли.
Вы не туда попали. А какой
вы телефонный номер набирали?

Увы, не тот. А вы проверьте в книге.
По адресу, ведь это так несложно.
Ну, в справочном. Хотите, справлюсь мигом?
А вы мне позвоните, если можно...

«К черту подробности жизни! Детали!...»

К черту подробности жизни! Детали!
Когда выпивали, вы не взлетали?
Над скрупулезьем недели, над бытом,
которым, сознаться, почти что добыты,
в котором тонули, сосредоточась
на униженьях и почестях, то есть
на тех же подробностях и деталях?..
Когда выпивали, вы не взлетали?
Жизнь не теряла вялость и прелость?
Вам не легчало? Вам не летелось?
И нет уже больше рангов и кланов,
и жизнь обретает другие мерки.

В размытом виде светится главное,
второстепенное меркнет...

«Вдруг разом...»

Вдруг разом
все лопнули связи!
Один лишь поступок.
Простое решенье.
И к богу!
И к черту!
Разнузданная беззаботность!
Всем
мир объявляю почетный!

Я еду.
Куда?
А, не знаю, по белому свету.
Хватаю,
читаю
О. Генри, А. Грина, газету!

Треплюсь!
Что попало несусь,
что стóбит и то, что не стоит.
Я клоун!
Политик!
Философ!
Я эпикуреец, я стоик!

Где страхи, тревоги?
Где боли, заботы, обиды?
Пороги! Дороги!
Железнодорожные виды!

Не сведены счета?
В них надобность срочно отпала.
А, к богу!
А, к черту!
По лужам,
по крышам, по шпалам!

Хобби

Сергею Юрскому

Давно уже известно,
что у каждого должно быть хобби,
какое-нибудь увлечение помимо профессии.
На Западе – там у всех моих знакомых
было по своему хобби.
И я стал скорей искать,
какое бы хобби завести мне.
В первую очередь пришла в голову,
разумеется, фотография.
Можно снимать
направо и налево,
прямо на улице,
детей и женщин,
которых больше никогда не увидишь.
А так они у тебя останутся.
Но это хобби у меня не получилось.
А почему не получилось – непонятно.
Тогда я придумал другое хобби:
путешествовать автостопом.
Поднял руку, остановил машину
и поехал куда глаза глядят.
Но и это хобби не получилось,
никуда не поехал.
Пожалуй, потому, что это неудобно —
ни с того ни с сего останавливать машину.
Мало ли, а может, ему неохота.
Так я придумывал хобби
одно другого интересней,
но ни одного не получилось.
А потом я понял – почему.
Потому что у меня уже было хобби!
Вот так, тихо и незаметно было.
Не лучше, чем у других, и не хуже.
Оно появилось само по себе
и довольно уже давно, это хобби.
Тогда и названья такого еще не было,
и ни у кого, кроме меня, еще не было хобби,
а у меня уже было!
Это хобби – с кем-нибудь выпить.
Лучше всего с незнакомыми людьми:
не родственники, не начальники,
не подчиненные —
просто повстречались несколько человек
на одном и том же земном шаре.

И хор слегка похож на стон

«Букварь забыт...»

Олегу Табакову

Букварь забыт
как древний миф:
«Мы не рабы,
рабы не мы».

Как вопль трубы
в снегах зимы —
мы не рабы!
Рабы не мы!

Уже не быть
рабами мнений.
Мы не рабы.
Мы не умеем.

Учтите, лбы —
рабы концепций.
Мы не рабы —
срываем цепи.

Ни страх сумы,
ни гром орудий...
Рабы не мы.
Уже не будем.

«Свобода...»

Свобода.
Это слово буду писать на отдельной строчке,
потому что это важно.

Свобода
уехать туда, где тебя никто не знает.
От мстительных зловещих, которые таят.
Но и от любящих, которые проникают
в душу, где неладно.
Свобода

от энергетических вампиров – полная несовместимость, –
которые отнимают годы и годы жизни, которые толкают тебя на
необходимые лихорадочные поступки, за которые потом расплата.

Свобода

от левых, которым вчера можно было все,
и от правых, которым можно почти все сегодня.

Свобода

от общества, в котором нельзя жить и быть
свободным от него.

Не знал еще, что останусь несвободен от
самого себя, глядящего себе в душу.

«Мы волочили семь десятков...»

Мы волочили семь десятков
к великой стройке кирпичи.
Нас озаряли с шаткой кладки
страны дозорные лучи.

Теперь поем нестройным хором
и – в пику хорам тех времен.
Смелы, раскованны, но – хворы.
И хор слегка похож на стон.

«Здесь перестроек механизмы...»

Здесь перестроек механизмы,
приоритеты плюрализма,
и что-то брезжит впереди.
Но долгосрочные прогнозы
нам обещают только грозы
и в лучшем случае дожди.

Под недостроенною кровлей
начальство с приостывшей кровью
сидит разрозненной толпой.
А впереди?.. На все вопросы
ответ прямой: «Возможны грозы
и дождь на годы проливной».

Хоть вера наша и ветшает —
прогноз не врет. Не обещает
тепла. Спасибо и на том...
Но вдруг, подросши, наши дети
сметут сырые бревна эти?

Прогноз пророчит и погром.

«А вам еще не вышли сроки?..»

А вам еще не вышли сроки?
А нам уже пора, пора...
Вам результаты перестройки
увидеть и кричать ура.

А может быть – уж нас не будет,
но с наше поживите вы
и на своем развале судеб
промолвите вслед нам: увы...

«А новое так отрицает старое!..»

А новое так отрицает старое!
Так беспощадно отрицает старое,
как будто даже не подозревает,
что, не успев заметить, станет старым.
Оно стареет на глазах! Уже
короче юбки. Вот уже длиннее!
Вожди моложе. Вот уже старее!
Добрее нравы. Вот уже подлее!
А новое так отрицает старое,
так беспощадно отрицает старое,
как будто даже не подозревает...

Ветры времени нервно дуют

«Повторения, повторения...»

Повторения, повторения...
Но ничто на земле не ново.
Но становится тем не менее
нашей жизни светлей основа.
Времена перемен настали...
Но и время – спираль витая.
До конца обличенный Сталин
до сих пор над страной витает.
Но народ, закостеневший в рабстве,
так бесстрашно теперь бастует!
Но навеки ли это, братцы?
Ветры времени нервно дуют...

«Правда почему-то потом торжествует...»

Зиновию Гердту

Правда почему-то потом торжествует.
Почему-то торжествует.
Почему-то потом.
Почему-то торжествует правда.
Правда, потом.
Но обязательно торжествует.
Людям она почему-то нужна.
Хотя бы потом...
Почему-то потом!

Случайный гость

Как грустно посторонним быть,
чужим на празднике жестоком.
Пить с ними, их уже любить,
им улыбаться ненароком...

Но вот – и я в кругу любимых,
и спущены все тормоза.
Вдруг
оживленные глаза,

глядящие как будто мимо.

Тут одного обносят чашей
или рюмашкой небольшой.
Тут – посторонний, тут чужой
на празднике жестоком нашем.

«А что с той девушкой, которая...»

А что с той девушкой, которая
на вечере так пела, вторя,
но, тихо скрывшись в коридоре,
ушла с веселья раньше срока,
так одинока?

А что с тем стариком, который
сидит в пустой уже конторе,
а перед ним зеленый термос
рассеянной рукой открыт, —
так на душе, наверно, скверно...
Чем растревожен? Чем убит?

А что с тем мальчиком, что плакал
и злобно тыкал в землю палкой?
Он был так жалко одинок
среди шагавших ног...

«Она все время искала...»

Она все время искала
просто хорошего человека,
с которым можно поделиться
или провести время,
чтобы не быть в одиночестве.
Но все так привыкли
казаться хорошими людьми
и принимать за это плату,
что она платила и платила...

«Когда они расставались...»

Когда они расставались,
он любил пошутить.

Так, что-нибудь,
что придет в голову.
Просто от удовольствия,
что все было хорошо
и вовремя кончилось,
и пора разъезжаться.
А она – то ли глупая была,
то ли обидчивая не в меру —
ехала в метро домой
и плакала пять станций подряд.
Она боялась, что он подумает,
будто она без чувства юмора.
А он как раз больше всего
ценил в человеке чувство юмора.

«Девушка не спит, не спит, не спит...»

Девушка не спит, не спит, не спит,
полюбила злого чудака.
Неудачник, люмпен, эрудит
и, возможно, тронутый слегка.
Он читает старые стихи,
о самоубийстве говорит,
у него глаза тихи, тихи,
он немолод и небрит, небрит.
Некогда любовь его сожгла,
у него в груди зола, зола,
под глазами у него круги,
за спиною у него враги.
Девушка в тоске, в беде, в бреду,
полюбила на свою беду
не за то, что тенор или бас,
а за то, что непохож на нас...

«Жалко телефон...»

Жалко телефон.
С самого утра
звонит и звонит в соседней квартире.
Подолгу звонит. Только кончит —
сразу начинает снова.
А в квартире никого нет.
И не будет, это уже ясно.
А телефон не может понять.
То ли не может, то ли не хочет,

то ли ему так необходимо,
что он все звонит и звонит.
Только перестанет —
сразу начинает снова.
Как будто у него жизнь от этого зависит!
И чем ему помочь – неизвестно.
Когда хозяева вернутся, передать?
А кто звонил-то?
Да им и не объяснить,
как звонил!

«Привычка-жалость, пожалел...»

Привычка-жалость, пожалел.
На этот раз жалел подонка.
Как он воспользовался тонко
привычкой-жалостью! Сумел.
Бездарная привычка-жалость!
К чертям! Прочь от меня!..
Осталась.

«Все отправились в гости...»

Все отправились в гости.
Дружно сидят в гостях.
Там произносят тосты,
там подлецов косят.
Ко мне проникают запахи,
бокалов глухие звоны.
Сижу одинокий, запертый
у черного телефона.
Небритый сижу, опущенный,
кручу номера без проку.
Пушкин уехал к Пущину,
Брюсов уехал к Блоку,
Петрарка ушел к Лауре,
Хрущев ушел к Маленкову,
там пляшут, поют и курят,
там выпьют – нальют по новой.
Безмолвны Восток и Запад.
Зови, проклиная, кричи!..
Я сам себя в доме запер
и сам проглотил ключи.

Судьба

Рассеянно меня топтала,
без злости, просто между делом.
Рукой махнула, перестала,
а растоптать и не успела.

Потом слегка посовестилась
и вяло оказала милость:
подкинула с небесной кручи
удачи и благополучья.

А под конец, зевнув устало,
вдруг закруглилась, как сумела, —
несчастьями не доконала,
счастливым сделать не успела.

«Я бегал по двум лестницам...»

Я бегал по двум лестницам —
то по одной, то по другой.
По одной меня не пускали,
а по другой не было хода.
Так я бегал по двум лестницам,
то по одной, то по другой,
пока меня не остановили знакомые.
Они спросили: что с вами?
Почему у вас такие грустные глаза?
Если бы знал, сразу бы сменил!
Для беганья по двум лестницам
нужны совсем другие глаза.

«Большевистские кóжанки...»

Большевистские кóжанки
лихо шли по полям.
Пулей, бомбой и ножиком
шар земной – пополам.

Кулаки раскулачены,
потерявшие стыд.
Словом, так ли, иначе ли
государство стоит.

Время ушлым прагматикам.
Шухерят, как в лесу.
С краю бойкой галактики
я вишу навесу.

Две стрелы

Всем молодым студиям, которые одарили меня радостью за мою любимую пьесу.

В душе дыра сквозная...

Из пьесы «Две стрелы»

Заклинание

Оборотни!
Не морочьте нас!
Простодушные,
простецкие,
непорочные!
Оборотни
с улыбками безобидными!
Заклинаю вас!
Незаметные,
станьте видными!
Оборотни!
Нам в глаза светло глядящие!
Ящерицы!
Обернитесь
ящерами!..

Монолог Длинного

Необходимо ль твердым быть?
Необходимо ль честным слыть,
прекрасно ль голову сложить,
неправоту разоблачая?
Не знаю.

И надо ли, меня прости,
другим прокладывать пути,
чтоб было проще им идти,
когда в душе дыра сквозная
и самому невмоготу
преодолеть дорогу ту?
Не знаю.

Монолог Долгоносика

Полные собою,
исполненные, наполненные,
переполненные до краев собою!
Они смотрят по сторонам,
выхватывают глазом то тебя, то меня
и косвенно сравнивают с собою
и, каждый по-своему, наполняются,
переполняются еще более.

А мы, никудышные, —
ходим между ними,
подавленные их ценностью,
их уверенностью,
полнотой и переполненностью собою!
И убито делимся с ними своими бедами,
удивляем их своими муками
и показываем пальцем то туда, то сюда.
И смешим их своими несчастьями,
и неустройствами,
и неудачами,
и своей несообразностью ни с чем.

Ушастый и черепашка

Черепашка

Ушастый, по сравнению с тобой
у всех такие маленькие уши!
Сказать, зачем тебе такие уши?
Чтоб лучше слышать нежные слова,
я для тебя их много сочинила.
Вот это слово «милый» — для тебя.
Они тебя убить решили, милый!
Они уже бегут по следу, милый!
Но что с тобою ни случится, милый, —
другим оставим это слово — «милый!»
Пусть женщины отныне шепчут: «Милый!..» —
своим мужьям любимым по ночам...

Ушастый

Ушастый я для шуток и насмешек.
А глуп я для того, чтоб совершать
дурацкие поступки!

Черепашка

Замолчи!
Ни одного дурацкого поступка
я за тобой еще не замечала.
Ты только нерешителен, мой милый.
Что делать, кто из нас без недостатков...

Ушастый

Скажи прямо: я попросту труслив.
Я трус. Я потерял в бою колчан!

Черепашка

Я и не думала об этом, милый...

Ушастый

Нет, думала! Все думают об этом!
Они – пускай так думают. Но ты!
Я виноват стыднее, но в другом...
Когда мы гнали летом Скорпионов
и я, как все, свистел и улюлюкал,
вдруг вижу – за кустами притаился
отставший Скорпион. Едва успел
я натянуть тугую тетиву,
как понял: это мальчик! Просто мальчик!
Уж посвященный в воины, но мальчик!
От страха спрятался в кустах, дрожит,
и вместе – куст дрожит листочком каждым.
Тогда со мною это и случилось.

Я повернулся и швырнул колчан.
И долго шел куда глаза глядят.
В тот миг я не испытывал стыда,
не думал ни о чем еще тогда...

Финал

Человек боя

Но оказалось, оказалось,
что человек сильнее тигра.
Того, кто, чуть земли касаясь,
к нему подкрадывался тихо,
кто, рыжим пламенем горя,
над рыжим тростником вздымался,
кто – рыкающая гора,
истошно алчущая мяса,
шутя сбивающая с ног
и сотрясающая камни!
Кто о таком подумать мог?
Рогатиной, двумя руками!..
Его дыхание зловонно,
еще живой он, не остыл.
Не тигр пожирает воина,
а человек его убил!

Глава рода

А я иду. Пора, пора идти...
Мне кажется, что ухожу не я,
а вы идете. Нам не по пути.
Желаю я тебе, моя семья,
нестрашных пропастей, нетяжких бед...
Я здесь остался. Я смотрю вам вслед.

Красноречивый

Военачальник! В этот трудный час,
в час, выражаясь проще, грозовой,
ты – лучший здесь, ты первый среди нас.
Прости меня, ты должен быть Главой.

Человек боя

Клянусь друзья, грядущую победой...

Долгоносик

Нет, будущим ты не клянись. Оно
позором этих дней осквернено.

Человек боя

Кто там опять? Все тот же долгоносик?

Долгоносик

Да, долгоносик! Жить в постылом страхе
перед тобою – то же, что не жить!

Человек боя

Зачем же в страхе? Что с тобою, брат?
Иная мне рисуется картина:
как пчелы, что на всех цветах собирают
их сладкий сок, мы, рот набивши медом,
летим в свой улей и, подобно пчелам...

Долгоносик

Встречаем смерть в награду за труды!
Уже две жизни только за два дня
тебя своею кровью запятнали.
И может быть, через одно мгновение
Тебе на душу тяжело ляжет третья.

Человек боя

Чья же это жизнь?

Долгоносик

Моя, вот в чем беда.
И – в спину, в спину, вам не привыкать...

Человек боя

Кто там стрелял? Связать и наказать!
Неужто недостаточно убийств?
Неужто не настало время мира,
покоя и порядка в нашем роде!

Черепашка

Нет, не настало! И не будет больше!

Человек боя

С почетом должным схоронить обоих.
Голосованье и гулянье – завтра.

Соловьи онемели

«Уезжаю. Куда? Неизвестно...»

Уезжаю. Куда? Неизвестно.
Ожидают меня поезда.
В чужеродном тумане окрестном
ожидают меня города.

Там бесплодно меня ожидают
обделенные дружбой друзья.
Там снега в ожидании тают.
Там предчувствия женщин терзают...
Так морочу себя понапрасну.
Равнодушно стоят поезда.
В чужеродном тумане неясном
равнодушно стоят города.

«Незрелой юности мучения...»

Незрелой юности мучения
перестают иметь значение.

Весьма заметные удачи
и развлечения вечерние
уходят так или иначе,
перестают иметь значение.

И неба светлое свечение
и речек сильное течение
перестают иметь значение,
перестают иметь значение...

«Простите, простите, простите меня!...»

Простите, простите, простите меня!
И я вас прощаю, и я вас прощаю
Я зла не держу, это вам обещаю.
Но только вы тоже простите меня!

Забудьте, забудьте, забудьте меня!
И я вас забуду, и я вас забуду.

Я вам обещаю, вас помнить не буду,
но только вы тоже забудьте меня!

Как будто мы жители разных планет.
На вашей планете я не проживаю.
Я вас уважаю, я вас уважаю,
но я на другой проживаю. Привет!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.